



*Советский плакат 1950-х годов*

◆ «...тью артиллерийскими залпами!» После этих слов слушавшие перестали внимательно смотреть на колокол-динамик, задвигав кружками, зашумели, заговорили. Николай Финогенович поднял кружку, глотнул вкуснеющего с каждым новым повтором пива. Кружка, холодная, скользкая, тяжелая, то и дело дергала руку вниз, когда он заговаривался с соседями, забывал о ней на миг. Тогда она звонко касалась увешанного медалями лацкана. Николай Финогенович спохватывался, снова подносил ее к губам. В пивном павильоне центрального парка стоял гомон. Музыка и голоса, слитые в одно шумное, неслись со всех сторон, пробираясь к крытой тентом пивной по асфальтовым просекам столетних деревьев. Шумели на веранде, где стоял Николай Финогенович, из очереди: смехом, голосами подвыпивших фронтовиков, легким матом — на буфетчицу за недолив, на бога за вчерашний град, на горсовет за неумение организовать даже такой Праздник.

— Праздник, Серый, есть праздник, уже полвторого, а я не пьян. Леха, хмырь, трояк-то у него наверняка есть... Вишь пиво сосут эти, с медалями. У меня батя тоже может с медалями был. От этого пива одна изжога только, а выжрать страшно тянет. Чью-то медаль в школе на отвороте пиджака носил: потерял или в драке оборвалась, сперли может. Сосед с медалями вышел сегодня, слышь, Серый! А ловко срезали вчера ребята с Огородного сумочку у той фифы, да что толку? — Мазня бабская, всего два рваных с полтиной в кошельке.

— Братан, чего эти тащатся, куда?

— С сумкой... на пруд с чувихами. Студенты, мать их! Дармоеды, в сумке две, нет, три флакона красного. Нажрут с девками, потом на хату поведут.

— Братан! Трояк-то есть, а? Чего его держать, давай. До вечера далеко. Сообразим?

— Ну и глотка у тебя, Леха? Уже кило водяры влупил, двух часов не прошло, а тебе еще нужно, оглоед!

— Поговори... Пошли на Короленко, там «Прутскую» утром разгружали.

— Пошли.

В тот же день; десять часов вечера. Набитый людьми трамвай выкатился из центра, проскочил пару улиц, миновал мост, пропал во тьме Носкова. Домишки с наглухо задраенными ставнями, сквозь щелки пробивается свет, вся жизнь проходит внутри: в домах, в яблоневых, вишневых садах, сокрытых от улиц фасадами, заборами. Стариннейший район гармонных, самоварных мастеровых.

Николай Финогенович удачно сел в трамвай, в первый вагон с передней площадки, но чего-то застеснялся, пробрался с немалым трудом в конец вагона: все людям не мешать выходить из-за своей неповоротливости. В вагоне ехало человек шестьдесят, может больше, но независимо от этого яблоку на пол упасть было невозможно, вздумай какой-нибудь носковский юный хулиган зашвырнуть его в раскрытое окно трамвая, предварительно надкусив и убедившись, что оно червивое. Но был май, яблоки только пытались предчувствовать свою завязь в носковских садах.

Почти все ехали трамвайным транзитом через Носково домой в окраинные микрорайоны. Ехали в первом вагоне пар пять юнцов с девицами, весь день они гуляли в парке, по городу, ходили в кино, теперь возвращались домой, где их ждали — поодиночке — родители, либо скооперировавшиеся — попарно — приятельские компании на этот праздничный вечер. Несколько девушек, двое парней ехали поодиночке. По самым разным причинам. Четверо пожилых женщин, они сдружились еще на остановке перед посадкой, ездили на кладбище, да припозднились, на обратном пути заходили в городе в магазины, посмотреть: не дают ли чего в честь праздника. Два курсанта военного училища, оба с невестами, ехали к ним в гости. Кто-то в рабочей одежде направлялся в ночную смену на металлокомбинат; вместо застоля с отцом и дедом ждала его домна. Еще люди куда-то, зачем-то ехали в первом вагоне трамвая. Итого, человек шестьдесят. Почти все под хмельком, не исключая хмурого по обстоятельствам доменщика, уже все, исключая несчастного, в предвкушении еще большего: праздник в недавнюю еще эпоху.

На одной из темных носковских остановок в вагон втерлись, отвалились спинами на закрывшуюся дверь полупьяные, скорее — одурелые, третий раз на дню напившиеся и протрезвевшие Серый и Братан, которых судьба к десяти вечера занесла в родной край. Они толком сами не знали: где они, куда влезли, зачем и куда едут? А влезли в трамвай, в первый вагон.

Трамвай дернулся, набирая скорость, пополз, потом полетел дальше по темноте Носкова. Присмотревшись, Серый толкнул задремавшего стоя, как лошадь, собутыльника:

— Смотри, чувак, дед-то, карман оттопыривается. Кошель!

— Пошупаем?

— Что ж... Дед не пикнет, трухнет, корявый.— И в дверь!

А стоявший к ним спиной был Николай Финогенович. После того, как он пробрался в конец вагона, увидел освободившееся на миг местечко, то сел, но просидел недолго: посадил от того запричитавшую, заупрямившуюся было древнюю старушонку в черном платке; затем его оттеснили к самой двери. Находился он в устойчивой

вом легком хмеле, в котором везде одинаково хорошо. Главное — люди все вокруг были веселые.

Стоя у дверей задней площадки, упираясь поднятой рукой в притолку-ящик, Николай Финогенович даже перекинулся парой слов с курсантами-четверокурсниками, тянула на разговор военная форма. Курсанты хотя отвечали вежливо, но, понял он, досадовали. Дед отвлекал от более насущного, от невест. Николай Финогенович догадался, смолк, курсанты занялись своим.— Пусть их, дело молодое!

Здесь он почувствовал, что тупо кольнуло в обоих боках, испугался до пота: неужели опять почки? Да вроде нигде не простужался и «краснухи» давно не пил. Он опустил руки, хотел пощупать бока, что за чертовщина? — И только успел отнять ладони от ящика над головой, как услышал сзади ему одному направленный шепот:

— Тише, старичок, если жизни дорога.

Чужая рука, мелкотно прыгая, как мышь пробиралась в правый карман, где лежал старинный бумажник, рассчитанный еще на дореформенные сотенные, с двадцатью тремя копейками мелочи, ключом от почтового ящика и взятыми на сегодняшний показ старыми фронтовыми фотографиями. Рука с бумажником выдернулась, но ножи кололи через плотный пиджак, рубашку, сторожили, выдерживали до ближайшей остановки.

— Молчи, молчи, папаша, дешево отделаешься тогда,— напряженно, хрипло дышали сзади. В какую-то минуту Николай Финогенович боковым зрением окинул сбившихся на площадке, прижатых к нему, плотнее килек в банке, людей: никто не смотрел на него, но по притихшему у одних, неестественно усилившемуся у других говору... вбок, только не на него смотрящих глаз, догадался, многие видят, понимают в чем дело, возможно даже курсанты. Как только он обнаружил — а может показалось? — признаки искусственной глухоты, слепоты у курсантов, душа не выдержала. К черту собачьему отпихнув мелькнувший было страх, Николай Финогенович, как некогда в разведке, в ночной траншейной тишине, сосредоточился, все выжидающее внимание остановил на внешнем, отбрасывая иное, домысливаемое.

— Сейчас остановка... медленно, медленно, только опередить, а там кто-нибудь да поможет, очухается от страха, не эти, так те, с остановки...

Он точно выждал момент, когда до остановки, до открытия дверей осталось три-четыре секунды, рывком выхватил из левого кармана пиджака единственно подходящий предмет — сложенные плоской дощечкой сегодняшние газеты, купленные с утра в парке «Звездочку», «Правду», «Россию» и «Известия», с силой развернулся, отгеснив народ, на левой ноге, тут увидел их лица: настороженные, отекишие, звериные,— быстро, крест-накрест хлестнул по глазам тому-другому. Ножи в панике неожиданно отскочили, Николай Финогенович, отбросив газеты, схватил обоих за патлы и с силой, скорее не стукнул, а сдавил лбами, затрещавшими, как оловянные горшки, отжав руки от себя, выбил Серого и Братана в отворившуюся дверь. В темноте неосвещенной улицы было слышно, как два тела мешками хлопнулись об асфальт.

— Держи их, ребята! — только успел крикнуть Николай Финогенович, кровь вскипела, бросилась в лицо. Негодование: на него, в орденах, в День Победы... сопляки! — Кровь прилила к лицу, как прилипла. В этот миг стоявший рядом здоровенный мужик, доселе отворачивавшийся, мигом обернулся, коленом выпихнул садившегося испуганного парня, по виду школьника, волосатыми ручищами легко, как занавес, задвинул гармошку дверей, держа их под ударами снаружи от кулаков, пинков очухавшейся шпаны, заревел:

— Эй, водитель! Какого же ты... трогай скорее, чего ждешь, всех порежут!

Весь трамвай мигом обрел слух, стогласно закричал, запричитал, как давешняя старушонка в испуге:

— Давай! Трогай! Скорее, порежут всех!!

Напуганный трамвай вроде как сам по себе, даже без помощи водителя мигом сорвался с места, на ходу хлопнув всеми остальными, до того раскрытыми дверьми.

— Эх, жалко,— посочувствовал, сопя от напряжения и негодования, мужик,— на остановке порежут народ, озверели совсем бандюги, стрелять надо их без суда и следствия; как поймал с ножом — так всем народом давить на месте! Здорово ты их, отец, видно, что фронтовик, я сперва орденов-то не заметил. Сразу видно, за дело даны ордена, а то сейчас много появилось героев, а там,— он помахал в сторону, долженствующую изображать южное направление,— так совсем... Вот сосед мой начальника на юг прошлым летом возил, встречает на базаре одного, глянь, у него четыре «Славы» на груди! Спрашивает: «Где ж четвертый взял?» А тот осклабился: «У тваво Ъвана купил».

Николай Финогенович слышал словоохотливого спасителя трамвая, дверьми за-слонившего полроты людей от Серого и Братана, но слов не понимал. Кровь стучала, стук отдавался в ушах, все за собой заслоняя. Все его внимание было на курсантах:

— Что же вы, ребята, не помогли? — выговорил наконец.

— Не видели, если бы видели, то конечно, а вы что же знак не подали, ну, крикнули бы нам?

— Да видели вы, меня-то зачем обманывать, теперь тем более?

— Ну тебя, отец, сказано — не видели, значит не видели. Все!

— А вы что, тоже не видели? — разгоряченно кричал Николай Финогеевич уже на все население задней площадки трамвая. Ему не отвечали, как будто слова пролетали людей насквозь. Старушонка, занявшая прежнее место Николая Финогеновича, крестилась, приговаривала:

— Вот дал господь-то дожить до каких времен: прямо в транваях народ резать стали, ох-ох, пронесло, обереги, господи, не чаяла уж живой-то выбраться. Спасибо, добрый человек дверь оборонил!

Спаситель уже разговаривал с другим соседом по площадке, словоохотливо поясняя, отчего все беспорядки происходят; выходило, что от баб, во-первых, во-вторых, от общей распушенности:

— Сталина на них нет с Лаврентием Палычем!

Николай Финогенович еще остановки две кричал, но народ постепенно начал сменяться — трамвай выскочил на взгорок, пошли микрорайоны — кто вышел, кое-кто отошел от крикуна, досадливо морщась. Наконец, к нему привязался потертый пьяный человечек, нудно затеребил его словами о людской совести. С досадой Николай Финогенович вышел на своей остановке, застыдившись под конец своей горячности, пошел домой. Кровь однако не успокаивалась, щипала щеки. Он сердился, громко стучал по асфальту деревяшкой протеза ноги, обутого в ботинок.

На другой день, проходя с сеткой картошки по улицам своего микрорайона, видел он много интересного: в луже от ночного дождя лежал совсем пьяный человек, до половины залитый грязной водой, но курил, с наслаждением затягиваясь, полагая, что находится в теплой ванне. Вечером того же дня, выгуливая своего лохматого Кузьку, встретил сморщенного годами, а больше водкой, мужика. Был он в костюме, сплошь залитом свежей, лоснящейся грязью, но на брезгливо отстраненной руке за-чем-то бережно нес зимнее пальто с барашковым воротником; на отвороте воротника в ряд пришили четыре одинаковых министерских знака «Победитель соцсоревнования в ... пятилетке».

Николай Финогенович сплюнул.

◆ Я очень хорошо понимал возмущение Николая Финогеновича, ибо в памяти было свежо собственное воспоминание о «девятке», точнее об истории, свидетелем

которой стал в позапрошлую зиму, когда Носково начали уже сносить и застраивать пятиэтажными коробками.

В тот злосчастный день, без содрогания о котором до сей поры не могу вспомнить, я чуток задержался на работе, еще на прежней. Вышел из проходной уже затемно, да понятно, когда темнеет зимой. Торопясь домой к уюту горячего супчика, к воркотне жены, к расспросам дочери — она тогда в школе изучала историю Древнего мира, мой конек, — решил проигнорировать «девятку», что тащится до нашего микрорайона целый час. На автобусе, хотя с пересадками, поспевал на четверть быстрее. Но автобус как провалился, расплылся в металлической морозной пыли. Нет ничего ужаснее, холоднее такого вот темного, вечернего мороза в январе. В который раз смахнув с ресниц выжатую ледяным холодом слезинку, притоптывая, чуть ли не стелая, с горловым проклятьем встречал я глазами стоймя притороченную к фонарному столбу желтую жестяную табличку, извещавшую граждан, что автобусы третьего маршрута с 19:00 до 21:00 ходят с интервалами в десять минут. А между тем я и вся эта черная, замороженная, слабо шевелящаяся толпа ожидала «тройку» битый час. Вот сэкономил!? В мерзлом воздухе, под издевательски сияющей полной луной скапливались, густели женские сетования, скрипло-простуженный мужской мат, стоногое шарканье, пристукивание каблучков. Казалось, что не тридцать, все сто тридцать градусов ниже нуля схватили людей за носы, уши, руки, ноги.

Все ожидавшие были в зимних ушанках, платках, всевозможных меховых клобуках. Я же имел на голове дурацкую шапку-пирожок, именуемую в народе «хрущевкой», и через каждые две-три минуты, стаскивая с рук оледеневшие перчатки на рыбьем меху, растирал хрустящие, холодеющие до потери чувствительности уши. А когда снимал с рук перчатки — то как в замерзающую воду опускал. После процедуры приходилось долго, до появления чувствительности сжимать-разжимать пальцы, засунув их в карманы пальто. Бр-р-р-рр!

Третий год, как износив до дыр шерстяные, двойной вязки, не могу купить приличных перчаток, жена пол-Москвы объездила, все нет! Чертов «пирожок» угораздило сегодня надеть: похолодания к вечеру не обещали, все та же жена уши прожужжала: твоя ушанка к пальто не подходит цветом... Трупы замерзшему этот «пирожок» подойдет!

От мороза вскипала в душе лютость, ненависть ко всему на свете, казалось, что весь этот город и уходящий с морозом в ночь стылый-постылый день возненавидели, в свою очередь, меня. Было с чего вскипеть: утром полтора часа добирался до работы, в основном, приплясывая на продуваемых трамвайных и автобусных остановках, вцепившись в поручень простуженного автобуса с незакрывающейся дверью, а на десерт повиснув в створке тож незакрытой двери «девятки», летел в небольшом с утра, но в хлестком, сыром, стылом морозе, от которого некуда увернуться, спрятаться. И на работе неприятность: опять посылают в командировку, это в такую-то собачью погоду?! Сейчас, вечером, по дороге от работы до остановки... откуда в такой мороз столько пьяных на улицах? Глаза бы не смотрели, каждый норовит проорать, промычать по его адресу: то очки не те, то шапка моя им не нравится. Как будто самому? Впрочем, очков я не ношу, но кричал забулдыга прямо мне в лицо?!

Летом езды от дома до работы от силы сорок пять минут, а сейчас... Бог один знает: ходит ли вообще «тройка», либо же черти ее украли? О, мерзкий город; мерзкая, мерзкая жизнь!

На этом свирепом выводе мои мысли перебила толпа: ожидавшие доселе «тройку» кинулись наискосок по перекрестку туда, где тормозил, останавливаясь, внезапно появившийся, оживший, разморозившийся трамвай.

— Трамвай пошли... пошли... шли! — Понеслись крики со стороны бегущей, то-

же ожившей надеждами толпы. И правда, трамваи пошли весело, гурьбой, отогрелись. Я хоть далеко не спортсмен, но сумел добежать до «девятки» не последним, засосался с толпой вовнутрь дребезжащего даже на стоянке, мерзлого, покрытого изнутри инеем холода, неоттапливаемого по обычаю зимы вагона; отопление береглось до лета.

♦ Остановки три — до носковского моста — я проехал, стиснутый ватиновыми, меховыми спинами, в уголке задней площадки. Трамвай с цоканьем прогремел по мосту, ухнул, раскатившись, под горку, пошло Носково. Вскоре вагон разрядился, много народа вышло на развилке трамвайного пути на углу Пугачева и Розы Люксембург, теперь можно было рассмотреть в сизой дымке вдыхаемого пара все население вагона, впрочем обычное: неизбежная полусумасшедшая баба, воронами нахохлившиеся старухи, толстые, средних лет женщины, по всей видимости продавщицы. На жестких, ребристых лавках усть-катавского, доисторического вагона — девятый маршрут единственный и последний в городе еще не был осчастливлен чешскими трамваями — сидели люди помоложе: мужики, парни, румяные от мороза и пригородного оптимизма девки. Точно такие же толпились в проходе, на площадках, чуть разбавленные пятком парней, еще несколькими девушками с портфелями и чертежными тубусами — студентами.

Большинство ехало на окраину города, в микрорайоны, кто задержавшись после работы в пивной, мало кто, как я — на самой работе. Парни с девицами, судя по разговору, возвращались из кино, студенты — понятно откуда. Впрочем во всем вагоне теперь мерз только я, вокруг же гоготали, перекрикивали друг друга: в «девятке» ездит народ свойский, большей частью, хоть шапочно, но знакомый. Кто-то позади закурил; мерзко запахло нечищенной общественной уборной: человеческий пар, смешанный с душным, едким табачным дымом — все это в нежилом холоде.

Поскольку происходило все это в веселые времена, то многие из парней были под хмельком. Девы все сплошь крутобокие, в теле, рыжекрашенные, румяные, громкие хохотушки — типичные обитательницы Носкова, с изрядной примесью татарской крови еще от крымских набегов на Москву, в которых Т. неизменно отводилась роль операционной базы. Эта-то дошедшая через века примесь делала их грубоватые лица неожиданно привлекательными свежестью, естественным, здоровым цветом полукровок.

Однако носковскую девицу лучше созерцать молчащей, здесь же они лаялись матерщиной, хохотали с привизгиванием, отвечая на заигрывания парней, также специфические. В вагоне стоял тот шум-разговор, который всякий нездешний человек принял бы за площадную ругань. Парни, выкатив мутно-серые, с изрядной наглостью глаза, дыша пивной отрыжкой, смешанной с табаком и сельдяным рассолом, рассказывали девкам о разном удалом: как Верка Хорищева сумела заполучить алименты с базарного «грузина», квартировавшего у ее матери, как вчера на Разрядной грабанули попореченские ребята-гастролеры продуктовую палатку, взяли два ящика... и тому подобное. Сегодня же с утра, прямо у проходных гармонной фабрики, мильты взяли Женьку, судя по жалеющей интонации, по подробностям — ближайшего дружба рассказывающего, — за изнасилование. «Какая-то стерва с Кирпичного поселка сама заманила, потом с Женьком не поладили, стукнула. Разыщем, еще поговорим с ней, рассчитаемся за все!..» Лупоглазая девка, в свою очередь, рассказала, как вчера пили там-то с теми-то, в эту пятницу свадьба у Людочки (— Помнишь, что в прошлом году аборт от Студента делала? -) по справке из исполкома: Вот Колька-то постарался, не дал девке школу закончить! Приходи с Хохлом, повеселимся, у них в доме пять комнат, пристройка в саду с печкой, вот погуляем!

...Хохот, ржанье, здоровые лица, запах конюшни. Огромные, отвратительные, лоснящиеся телом чудища толпились в каменной конюшне. Их конские крупы пахли едким потом, копыта беспрерывно били в камень, высекая искры. Чудища взбрыкивали задними ногами, толкали друг друга круглыми лошадиными задами, не чувствуя от этих ударов боли или неудобства. У передних же ног из крупов вырастали человеческие, геркулесова сложения тела. Яркие, пламенеющие в хохоте губы открывали желтые, крепкие, как камень, конские зубы. Гогот!

На лицах самок — похотливость, у самцов — вожделение. Запах человеческой пищи и питья, вонь стойловой соломенной пропревшей подстилки. Речь — человеческая, гогот, ржанье — лошадиные. В морозной пещере толкались, резвясь, чудища, от крупов которых поднимался плотный пар: запах конюшни и здорового тела животного. Воздух от пара мутнел; крупный, мочевиновый, кристаллический иней осаждался на потолке, стенах конюшни. Крепкие, огромные тела чудовищ сталкивались в толчее. Руки, головы, ноги переплетались. Бестолковые речи, шум прерывались могучими криками, ржанием призывающих к себе табун жеребцов-производителей. Самки никли головами с рыжими гривами, тянулись к ним, лукаво кося влажными, теплыми, карими, вожделеющими глазами, ожидающие в сладострастье покрытия теплых, приятной тяжести крупов самцов. Здоровый запах животных испарений...

♦ Я очнулся от дремотного видения, навеянного обстановкой трамвая и недавним чтением — в унисон школьной программы дочери — куновских мифов. Трамвай подпрыгнул на повороте, выскочил на пустырь, где вольный ветер этих мест набросился на скребущих тормозами на спуске вагоны охапками колючего снега. Всегда, сколько я помню, зимними вечерами здесь мела метель, рельсы утопали узкими черными провалами в наметенных вдоль линии сугробах. Близилась остановка «Утопия». В этом месте сплошной деревянный массив огромного Носкова был недавно вырублен клином, который спешно застраивался новым микрорайоном, названным сразу же Утопией не в честь Томаса Мора, но по той причине, что за исключением зимы, да и то не всякой — морозной лишь, все пространство между новостройками разбухало непроходимыми топами глинистого месива. Когда в центре города в сухую погоду появлялся вроде бы прилично одетый человек, даже при галстукке, но в резиновых сапогах, можно было с точностью до номера микрорайона назвать его местожительство: Утопия, от слова «утонуть».

Сейчас же Утопия являла собой студеный, метельный пустырь с занесенной снегом колеей; посредине мигал маяк: фонарь остановки, к которой тянулись, нагибаясь, пробуя спрятаться от морозного ветра и колючего снега, новоселы Утопии.

Отчаянно трезвоня, сбрасывая скорость, трамвай подползал к дикой остановке; когда случалось проезжать в «девятке» днем, засветло, я всегда с замиранием сердца наблюдал из окошка, как впрыгивают в вагон утопийцы: замедляют шаг за два метра до колеи, осторожно взбираются на наметенный за ползимы, отполированный, утопанный до льда снежный вал, а уж оттуда — сверху-вниз — сигают на вагонные ступеньки. Поэтому опытный водитель прежде всего сбрасывал скорость перед Утопией до минимума; проще простого было скатиться иному нерушному прямо под колеса надвигающемуся трамваю.

... Еще раз отчетливо звякнув сигналом, остановился трамвай. Меня шатнуло, локтем я неловко задел спину стоявшего впереди, в обнимку с девицей, что была в модных, но не по сезону тонких колготках, парня, и в привычном, тоскливом опасении ждал. Парень, здоровый носковец, с красным от мороза и водки круглым лицом, с прилипшей к губе семечковой шелухой, полуотвалом обернулся в мою сторону, нагло, спокойно рассмотрел мою дурацкую шапку, сплюнул шелуху, вновь отвернул-

ся. Пронесло! Занудило под языком: липкая, неловкая стыдливость самого себя, своего привычного страха перед грубым, безудержным, непредсказуемым.

— Парень как парень, таких в городе девяносто из ста. Наверное, у меня уже комплекс сложился, последняя стадия невроза: начинаю людей бояться. А может как Гребенников, того?.. Тьфу-тьфу!

Стыдясь за самого себя, я почувствовал вроде как необъяснимую симпатию (?) к парню: он-то другое... стоит, не думает; толкнет ли кого, не толкнет, а если толкнет, так отшутится, оба рассмеются вполне дружелюбно. Свой в городе! Какое-то болезненное расслабление толкало меня заговорить с парнем, просто так, ни о чем, а может о сокровенном, наболевшем? Сойти вслед за ним и его подружкой на совсем чужой остановке, пригласить их в ближайшую «стекляшку», выпить вина и допоздна, до крика буфетчицы («Закрываю! Освобождайте помещению-ю!») говорить, говорить без конца, встречая понимающий, приобретший осмысленность, уважительный взгляд парня и приятную, загрустневшую от умной мужской беседы синеву ее глаз. А выйдя на нестрашный в умеренном хмелю мороз с освобожденной, очищенной от всякой рефлектирующей скверны головой, по-дружески обняться с бывшим незнакомцем, а теперь чуть не кровным братом, и, галантно поцеловав у взволновавшейся, удивленной, впервые такое видящей наяву, не в кино, подруги парня руку, пройти пешком со свободной от дури, приятно хмельной головой до самого дома. И...

Здесь меня потеснили. На Утопии вагон всегда заполнялся: в ночную смену ехали рабочие. Открытые двери вагона наглядно показывали, что в погоде тем временем свершилась перемена: вместе со входящими в трамвай влетел уже не морозный колючий ветер, а легкая, осыпная пурга. Я приткнулся носом к стеклу, через паутину изморози кое-что рассмотрел: на пустыре, действительно, выюжилась пурга; стало уютно, как всякому человеку уютно в пургу, сидя в тепле, за окном, хотя бы трамвайным. Русобородый бог-охабень метели сменил на дежурстве зимы колючего, злого, тощего мороза-щипака.

◆ Замечтавшись, вновь проворонил момент троганья трамвая, хотя внутренне был настороже, опять коснулся локтем спины парня, совсем собрался было изобразить на лице приятельскую улыбку навстречу полуобернувшемуся, полузавалившемуся от толчка вагона, веселому, добродушному соседу, но тот, не прерывая беседы с приятельницей, только взглянул поверх меня, отвернулся.

В следующий миг и не сообразил, как со стороны, а не сам услышал голос, проникший в вагон через затворяющуюся дверь:

— Стой-стой! Руку! Держи...

А вслед полоснул, всю душу передернул, сильнее всякого мороза заледенил дикий, страшный женский крик:

— А-а-а-а!! — Он длился на единой, ужасно высокой, но в то время хриплогрудной ноте не более полсекунды. Смолк. Трамвай резко затормозил, ткнулся во что-то носом, замер. В вагоне загалдели, зашумели, заговорили враз:

— Женщина поскользнулась. Обе ноги! Ой!

Эти жуткие слова длинными, острыми иглами пронзили меня от макушки до пяток, нечто холодное, щипающее быстро-быстро каталось по коже от головы до ног и обратно. У противоположной стороны люди прильнули к окнам, сияясь рассмотреть это страшное.

— Ой, господи! — Заплакала старушонка с передней площадки,— крови-то, кровь! Обе ноги!

Быстро, внезапно, не постояв полминуты, трамвай тронулся. Почему? Послышалось, как из тумана:



— Чего это трамвай-то пошел?

— А чего ему стоять,— ответил парень с шелухой (Я скорее почувствовал, чем услышал, как он сплюнул семечную шелуху). Вдалеке, отделенная потным пространством вагона, плакала чужая всем старушонка. Несся гул — взволнованный говор. Поначалу не понял из-за сумятицы в голове, не поверил себе: двое, нет, трое смеялись?

— ...Ее оттащили, кто на остановке был, трамвай-то зачем держать? Народ домой спешит, на работу опять же... Да и слышала? — Водитель ругалась: полезла, мол, дурища, под колеса, а с меня премию.

— Правильно тоже,— продолжал свое парень,— аккуратнее надо, сам за баранкой насмотрелся...

— Молодая? Что-то не рассмотрела,— сплюнула шелуху теперь уже девица.

— Говорят, лет тридцать.

— Ну, дай бог, новые отрастут, коли так! — Оба рассмеялись. Парень хмыкнув непонятно на что, обнял ее, что-то прошептал на ухо.

— ... О чем разговор, как и вчера во второй, к часу придет только,— разобрал я за спиной парня ответ ее. Парень снова обнял, снова шепнул, ослабившись. Девица прыснула, чувственно вздрогнула крыльями носа, очень женственно прижилась на миг к парню. Меня как молотком шарахнуло в затылок — в самое больное место, в темечко.

...Ужасные чудища толпились в пещере: кони с человеческими телами ржали, обнюхивали друг друга. Запах пота ясно осязаемыми струями исходил от мощных конских круп. Вдруг стадо шарахнулось, сбилось в дальнем, темном углу пещеры: снаружи загредел камнепад; большим, заскочившим вовнутрь валуном раздавило самого неловкого. Несчастное животное всхрапнуло, свет померк в карих человеческих глазах, а перетерпевшие первый, стадный страх чудища вновь загомонили, заржали, растоптали копытами теплую еще плоть, даже не поняв: что это такое теплое под ногами?

♦ Вспомнил вот, как тогда мороз по коже продрал. Но, возвращаясь к короткому ответу Егорова, подумал:

Не то, не обыденная легкость шутки почудилась мне в этих словах; не то было в моем одиноком, вежливом смешке. Это не уходило от меня, накрепко засев в голове. Как мелкий камешек, удвоенная по объему песчинка, попавшая в ботинок, а ты — в собрании людей, в официальном месте. Снять ботинок, вытряхнуть песчинку неудобно, даже неудобосказуемо, а ходить мука мученическая; не то что больно — что-то мелкое, горошина под периной принцессы, мешает занудливо, пакостно. А ведь горошина под периной причиняет большие мучения человеку, нежели сон на голых досках, ибо песчинка в обуви — не физическое, как угодно, но некоторое нравственное, психическое неудобство, сходное с ощущениями угрызения совести после мелкого прегрешения, малой пакости.

Вот что меня тогда измучило. Как избавиться от песчинки, от горошины под периной? Смутно, подспудно тянуло выбросить из ботинка, то есть (Тьфу! Тьфу!) освободить голову от короткого, сокрушительного «д а» Егорова, этих слегка отчужденных, мимолетных взглядов курильщиков. Но как?

Расспрашивать Егорова? — Девяносто девять процентов, что поставлю себя в архисмешное положение.

— Наверняка же,— думал я,— это просто моя нервность, повышенная сверх всякой меры переменной обстановки, предшествующими неурядицами подозрительность. И только. Спрашивать других? Но как? Чувствовалось, что я пропустил уже то время,

когда можно было поинтересоваться странным поведением Егорова. Продолжать шутку неловко и неумно. Мешали холодноватые огоньки в глазах сослуживцев. Приходилось выпутываться: вроде как сам попал в неловкое положение, неловкое не столько в глазах других, но главное-то: неловкое в своих собственных, тот же камешек в ботинке или горошина под периной чувствительной принцессы большого замка... Представляете мое положение?

Я поступил как начинающий сумасшедший с тихим, безвредным для окружающих сдвигом: исподтишка, ненавязчиво стал наблюдать за Егоровым. Вы понимаете, что побудило меня к этому крайнему шагу?

♦ К сокрушительному, ломающему всякую логику привычного бытия, выводу я пришел не сразу, конечно, не в курилке после неудавшейся шутки; много позже. Правда, сейчас не могу вспомнить: через неделю, через две? Не в этом суть, во всяком случае, в пределах этого отрезка времени после той сцены в курилке. В этом-то на память твердо полагаюсь.

В день, когда я решился (Думал: либо подтвержу факт начинающегося расстройства собственного рассудка, либо найду подтверждение невероятнейшей догадке, узнаю до конца эту дикую историю), да... в этот день я пришел на работу за сорок минут, а чтобы жена не спросила, дескать, куда в такую рань, сэкономил на дороге: весь путь проделал, втиснувшись в переполненный в этот утренний пиковый час вагон «девятки», а не как обычно: две трети пути относительно свободным автобусом, оставшееся — неторопливым прогулочным шагом.

Первое подтверждение, еще более усилившее мое отчаянное непонимание происходящего с Егоровым, а теперь, скорее всего со мной, я получил на самом входе в СКБ (У дверей здания СКБ стоял отдельный вахтер, помимо тех, что караулили у общих, заводских проходных) от нашего вахтера. Так вот, заводские проходные я миновал в самый наплыв народа: завод начинал работу на час раньше СКБ. Но отделившись от спешащего заводского потока, переступив на дорожку, что вела к нашему зданию-аквариуму, я оказался в одиночестве путешествующего по голой равнинной местности: шел один, никто не маячил впереди, не топтались сзади, не обгоняли. Отворил дверь в вестибюль, показал пропуск сонной от безлюдья вахтерше. Та, профессионально запомнив меня с первой же недели работы, ответила на мое «здравствуйте», благорасположенно, как бывают благорасположены пожилые вахтерши в тихие часы — в часы массового хода народа их подстегивает нервная бдительность, они рвут и мечут, состояние понятное: кого не разволнует, не озлит беспрерывное мелькание людских голов, а ведь надо еще успеть на пропуск взглянуть? — и она, опять-таки позевывая, вставая с дремотного стульчика размяться перед трудовым днем, сказала, рано ты сегодня, милоч, явился. Только уборщицы Настя и Лиза вперед прошли и завхозиха, отпечатывающая главный внутренний вход в СКБ.

— Неужели так первый?

— Да-да, из ваших инженеро́в седни вы первый.

С чувством облегчения, отрешения от каменного груза самосомнения, вбежал на свой этаж, открыл шкафчик с ключами от комнат, поискал глазами свой номер: я не нашел его. Думая, что слишком спешно проглядел, остановился, перевел дух, тщательно просмотрел все номера по-порядку; под нашим номером сиротел пустой гвоздик. Вполне еще не веря, осмотрел нижнюю полку шкафчика, пол под ним: может вчера в спешке уронили? А может кто забыл запереть комнату, либо по рассеянности положил ключ в карман? Уже с нехорошо бьющимся сердцем направился я с своей комнате и... рассмеялся, лихо прихлопнув себя ладонью по лбу: вот что значит на новом месте до конца не освоился, ни разу первым не приходил, потому в памяти не

задержалось, что наша-то комната, коль скоро в ней находятся матценности — приборы Егорова — печатывается, значит за ключом надо тащиться в заводские проходные, в охрану, брать под расписку... пусть кто другой берет по пути, я же в курилке перекантуюсь. Проходя мимо своей комнаты, увидел, что дверь полуоткрыта, внутри тихо веселится динамик трансляции, на своем месте сидит Егоров, скрючившись, он всматривается в экран осциллографа, петляющего синие синусоиды. Кадил запахом хвои и смолы паяльник. Меня кольнуло ознобом.

♦ Как сейчас вспоминаю: кольнуло ознобом, даже потянуло холодным ветром из комнаты, кстати, более теплой, чем коридор. Комната нагрелась утренним солнцем, окна выходили на восток.

Егоров обернулся на скрип двери, сдержанно поздоровался, положил паяльник на подставку, обернулся уже окончательно вместе со стулом. Завязался разговор, во время которого я прошел к своему столу, снял пиджак, повесил его на спинку стула, надел халат, переложил в его карманы расческу, платок, сигареты, другую потребную мелочь, но все что делал — разговор, переодевание, раскладывание по карманам — делал по инерции, механически. Егоров отметил, что я пришел рано. Хотел было выпалить: ты, Жень, еще раньше, но почему-то промолчал, опять все вспомнилось: короткое «да», мой неловкий смешок, отчуждение в глазах коллег-курильщиков. Разговор перешел на погоду и вчерашний четвертьфинал на кубок обладателей кубков.

Однако с задуманной каверзой спросил, как понравилось сегодняшнее утро, свежее, солнечное, без единой тучки на небе. Но в который раз все перевернулось на противоположное: Егоров ответил, что с удовольствием почти с час провел сегодня на воздухе. Действительно, очень приятно, свежее утро. Бодрит.

В голове заломило: как связать воедино, в непрерывную по логике цепь, все слова Егорова, уверения вахтерши, все тот же мой дурацкий смешок, это простое, безыскусное «да», косвенные взгляды в мою сторону? Я положительно терялся, доискиваясь в самом себе сути происходящего. Да неужели правда схожу с ума? Почему же иначе такое состояние разошедшегося без края-берегов воображения подозрительного оттенка? И обязательно одно отвергает другое! Это о фактах. Не выдумал ли я все? Но почему мне это в голову пришло, почему это именно мне в голову пришло? Почему именно это в голову втемяшилось?

Я пришел в курилку до начала работы, чего со мной ранее не случалось: привык беречь личное время. Вежливый, склонный к чужим, гипнотическим для него влияниям, Егоров ползлся за мной, разминая — наконец-то — сдавленную «Ватру».

Выкурив полсигареты, собрался, привел в порядок разбежавшиеся, словно часовые колесики, спрыгнувшие с неловко подвинутого стола ремонтера, мысли. Но как похитрее, незаметнее подкинуть ему вопрос, непременно требующий разрешающего мои сомнения ответа? Увы, в голове вновь запела разноголосица, вопрос-то никак не собирался, как сгребенные наспех в кучу колесики из разных марок часов. Егоров также молча курил, стоя ко мне вполоборота, смотрел в окно — вид на плоские, нарезанные полосами крыши заводских цехов, построенных ударно в 1915 году, — попыхивал высушенной на теплом осциллографе, хорошо горящей сигаретой, выпускал бесформенные клубки дыма, пахнущего горечью березового банного веника. О чем он размышлял? — Вот только этой мне заботы не хватало: о чем он думает, стоя у открытого окна курилки.

Весь день я ерзал на стуле, ждать не мог дожидаться, когда в конце очередного часа комната снимется курить. Но курение не приносило ни успеха, ни утешения, ни ответа. Раза три пытался завязать нить разговора о Егорове, но боясь обычной своей

неловкости, а главное, в памяти засел тот мой смешок и общее молчание — я каждый раз стушевывался, слишком издали, слишком косвенно, робко начинал вязать эту нить, потому она обрывалась уже на скручивании начальных, размахренных волокон.

За целый день ничего не придумал, голова разболелась. Я даже не стал задерживаться после звонка на обычные двадцать минут. Впрочем, пора кончать с этим, переигрывать не стоило; один из молодых, горячих парней несколько раз уже бросал в мою сторону косою, с подозрительной взгляд, сам уходя тотчас, ровно в минуту, даже не по звонку, иногда запаздывающему на четверть минуты, а по своим часам. Им он, естественно, больше доверял.

Я вышел на улицу, дошел до поворота, за которым уже не видно здания СКБ, тут встретил своего старого коллегу по работе, тож по старой, в НИИ. Работая на прежнем месте, был я в его приятелях, понятно, сейчас мы не на ножах были, просто жили в разных районах, дороги не пересекались, словом, пройдя пару переулков, но в противоположную обычному моему движению сторону, спустились в подвальную шашлычную с пивом (Теперь там очень подозрительная частная вегетарианская столовая с наглухо закрытыми дверьми и табличкой «Вход по предварительным заказам»), где посидели, поговорили полтора часа. По выходу простились, приятелю путь лежал в одну сторону, мне — возвращаться переулками, где не было транспорта, мимо завода, далее вверх по Некрасовской. Я шагал, приятно нагруженный мясом, пивом, а также безотносительным, чисто приятельским, потому бодрящим оптимизмом разговором по душам. Чутко грустновато было: вспомнились годы в НИИ, в молодости, после института, была там у меня одна прекрасная знакомая... Да что там говорить! Проходя мимо завода, над низкими цехами которого светлела башня СКБ, еще не поднимая глаз, глядя под ноги, загадал: если взгляну, то увижу не что неприятное. Вскинул голову: в наступающих сумерках, на плоской крыше нашего аквариума стояло Нечто. Я пригляделся: похоже, очень похоже на фигурку человека. Расплывающаяся в очертаниях фигура стояла на плоской крыше, даже показалось, что стоит, задумчиво глядит в даль, вьется легкий сигаретный дымок. Я вскрикнул, поскорее убежал за угол. Или мне почудилось?

Только миновав спешным шагом последний переулок, пройдя пару кварталов по Некрасовской, начал собираться с мыслями. Страшное видение стоящего на плоской крыше, посреди опустевшего завода человека с задумчиво сложенными на груди руками, с дымящейся сигаретой, — все на фоне темно-фиолетового вечернего неба, томило душу, выворачивало наизнанку всякую здравую, рассудительную мысль. А был ли он? Нет, точно, сознание отказывает мне, какой же это может быть человек, зачем, почему, как это я смог разглядеть дымок сигареты, тем более — скрещенные на груди руки? А я, как стреляный заяц, всякую трубу, обычную вытяжную лабораторную трубу на крыше принимаю в сгущенных сумерках, почти в ночной темноте, за человека. Что он высматривает, печальный сторож пустого бетонного здания, что томило его протяженный над плоскими, скучными заводскими крышами взгляд? Но ведь это был человек, хотя я смотрел только миг, секунду, но не настолько ж было темно, чтобы нельзя было различить шевеление руки, стряхивающей нагорающий пепел хорошо высушенной сигареты. Ужас, страх. За себя, за себя! — Он пригнал меня поскорее домой, бледного, молчащего, пугающего видом своим жену, дочь. Успокоился только, как малое дитя, уснув в теплых объятиях любящей своей супруги.

◆ Под утро я спал вполювь, то просыпаясь, то вновь падая в провал лихорадящего сна, где неизменно являлся один и тот же образ пугающе, молчаливо, неподвижно стоящего на плоской крыше человека. Дым от сигареты чадом потухающего жертвенного костра всеожжения слабо двигался, улетал в сизое, темно-фиолетовое вече-

реюшее небо теплого заката. Холодящий ужас его одиночества, обреченности стоящего посреди умолкнувшей на ночь металлической, бетонной заводской пустыни. Виделось: дым застыл жиденьким клубом в вечернем воздухе. Только налетавший порывами предночной холодный ветерок ужаса чуть-чуть сдвигал дымное облако и тем выдавал присутствие не столба, не лабораторной трубы, но живого человека. Во сне мое зрение чудеснейшим образом обострилось, я мог различать лицо на расстоянии полукилометра, а человек на крыше медленно-медленно начал поворачиваться в мою сторону, словно чувствуя наблюдающее присутствие. Уже, казалось, узнаю отдельные черты его, лицо все более, более разворачивалось ко мне, но невыразимо страшно было увидеть, узнать его. Я закрывал глаза ладонями, но знакомый облик проходил сквозь стиснутые пальцы, сомкнутые веки. Я вскрикивал от страха, просыпался в поту. Жена сонно, разморенно, не просыпаясь, произносила нечленораздельное, может обидное, поворачивалась на другой бок. Я же не обижался, помня, что пора нашего супружеского медосбора давно перешла в неяркую, хотя ровную идиллию взаимотерпения. Под утро проснулся очередной раз, более заснуть не смог. Был ранний, еще серый, неразличимый рассвет. Я поднялся с постели, накинул халат, ушел на кухню покурить. Там в задумчивости досидел до утра, до звонка будильника, тупо глядя на проступающий из утренней мглы бардак дворового прямоугольника: песочницы, детские грибки, пустые щербатые столы, скамейки доминошников, гараж льготного автомобилиста Гольдина, пять пустых бутылок после ночной пьянки дворовых хулиганов, натянутые бельевые веревки, прочий житейский хлам изнанки дома.

Утро имеет свойство успокаивать человека. Должно быть истина такого свойства в появлении людей после одиночества ночи: за стеной сосед засвербил электробритвой, жена загремела холодильником и сковородой, послышалось шипение закипающего растопленного масла, хрусткие шлепки разбиваемых яиц, засипел, застонал чайник, заворчала сонно просыпающаяся дочь. Опять же за стенкой у соседа проснулись два сына-близнеца, застучали должно быть головами друг друга об пол, другой сосед — слева — вышел в подтяжках поверх майки на балкон, закурил, запел дурашливым голосом строевой марш, соседка снизу также вышла на балкон, вытрясла байковое одеяло. Из второго подъезда выбежал встрепаный пижон, очередной деловой знакомый продавщицы Юльки, закурил на ходу, побежал в сторону рынка, наверное, опохмеляться пивом. Второй льготный автомобилист дома Агафонов — гараж его, в отличие от гольдиного, был за пределами двора, не виден из моих окон — заскрипел сначала протезом, затем железными запорами ворот. Скрип их был адовым... впрочем, утро меня освободило, рассеяло черную душевную тоску, скорбь ночных кошмаров. Но в половине девятого, как только вошел в комнату своего сектора, самоистязание вновь зажало душу в тиски.

◆ Я залпом записал все, относящееся к этому страшному, невыразимому ощущению, что испытал две недели тому назад. Вот снова, по прошествии почти трех месяцев, руки потянулись к бумаге: если и бумаге не поведаю о том, что теснит разум, сжимает сердце, то безумие овладеет мною полностью, ибо никому из людей, даже жене, не могу рассказать... Тот первоначальный испуг от моего глупого смешка, насторожившихся глаз курильщиков, смущение, страх оказаться в смешном положении — все вылилось в патологию полного страха кому-либо, что-либо рассказать, спросить. Я всего уже боюсь. Я боюсь, как тот болтун из сказки, выйти в чистое поле и прокричать свою тайну. Тайну? А может загадку, смущение души? Или разума?! Только бумаге еще доверяю, может потому, что держу при себе желание, твердую уверенность порвать свои записки, как только вильюсь в них. Обязательно. Как пить

дать. От таких тайн люди порой спиваются, но это не для меня. А кто не спивается, тот наверняка сумасшедший, в потенции, как... Гребенников. Рука тянется написать определяющее мою личность местоимение в именительном падеже, но нет! Не даю ей свободы помимо твердого, разумного смысла: пиши то-то и только.

Так вот, прошло три месяца после того... Вы знаете из предыдущих записок. Кстати, только теперь я почувствовал, что жена уже много лет равнодушна, холодна ко мне, ну-у, вы понимаете, в своей, в женской части... Никакая работа, никакие люди, дела, ничто меня уже не занимало. Каждую минуту из девятисот шестидесяти конституционно выделенных, помимо сна, в сутки я думал только о нем. Но чем больше думал, тем более и более избегал следить за ним. Под конец просто боялся на него смотреть, даже переставил свой стол под глупым, надуманным предлогом так, чтобы сидеть к Егорову спиной. В курилку начал ходить не в очередь с комнатой, а значит и с ним. На меня начали косо поглядывать. Ну и пусть! Не знаю, как это называть, но у меня появились все повадки трусливого вора, есть такая категория. Каждый день после работы я шел вверх по Некрасовской, доходил до трамвайной или автобусной остановки, выжидал пока уедут все знакомые люди, после чего бежал через квартал на троллейбусную остановку, садился, делал на четвертом номере почти полный сорокаминутный круг, сходил около давешнего подвальчика с шашлыками, крадучись, тенью скользил мимо завода по противоположной стороне улицы, но — отворачивая от него взгляд. Только на углу поворота в переулок я на считанные доли секунды — натренировался — вскидывал взор и, дико вскрикнув, потел ото лба до пальцев ног, задыхаясь, почти теряя сознание, бежал до самой остановки «девятки». В этом сумасшедшем беге все пытался вспомнить: увидел на этот раз на плоской крыше СКБ одинокую, задумчивую всей своей позой человеческую фигурку со сложенными по-пушкински на груди руками и дымок от сигареты, белесый на фоне смутного вечеряющего неба? Никому ни разу не мог... да что там «кому»? — Себе не мог сказать: да, я его видел! Или: нет, я его не видел. Ум мой отказывался работать исправно. Жена, видя мои постоянные задержки с работы, да еще в полной трезвости, растерянности, приревновала, но с женской хитростью приняла контрмеры: во-первых, начала исподволь беседы о втором ребенке, как залог семейной гармонии, во-вторых, имея в виду возможное исполнение первого, стала настойчиво доказывать, что у нее наступила пора второй молодости, требующая моего активного, непосредственного соучастия. Это меня на время заинтересовало, чуть отвлекло, несколько успокоило.

♦ (Полуторомесячный пропуск в записях). Ура! Слава богу! Слава ясности, счастлив я, свободен, легок как пушинка, невесом, счастлив!! Я нашел разгадку, да-да, сам дошел, чисто аналитически, перебрав все мыслимые варианты. Но не немислимые, ибо сколь ни близок был мой ум к расстройству, все же я его сдерживал по эту сторону: в чистой, ясной половинке, призывая на помощь все силы рассудка. Я понял, я его, Егорова, вычислил: просто он потерял пропуск. Кстати, супруга начала выражать недовольство моей холодностью, как-то раз, потеряв чувство меры, в пылу разочарования сравнила меня с настоящим мужчиной Игорем Корославлевым, нашим прежним общим знакомым, сравнила она, сославшись тут же на доверительные рассказы жены Корославлева, ее подруги, но я-то знал — он сам по дружеской пьянке раз проболтался мне — что этот настоящий мужчина освободил на заре юности мою нынешнюю супругу от мук девичества... Словом, отныне она могла не рассчитывать на семейную гармонию, потому потеряла ко мне всякий интерес. Формальное примирение ничего не изменило. Впрочем, мне было не до нее. Да-да, гениальная догадка всегда проста: он потерял пропуск. В один не слишком для него прекрасный

день — это случилось может полгода тому назад, а может пять лет прошло — встав с места после отбойного звонка, Егоров надел пиджак, пошел в толпе к проходным. По многолетней привычке, за пять шагов до металлических барьерных перилец проходных он сунул правую руку в левый внутренний карман пиджака и похолодел: пропуска не было. По той же многолетней инерции он продолжал продвигаться к барьеру, да не мог иначе, толпа выносила его, как взятую в отдельности рыбку несет вытряхиваемый из невода плененный косяк сельди или — в духе времени — минтая, а может путассу. Сопrotивляясь, как только можно, Егоров замедлил шаг, руками суетливо лотошась по всем карманам; попадалась разная несортица: расческа с поредевшими зубьями — пора новую купить, подумалось совершенно некстати, когда пальцы неприятно ощутили проломы в пластмассовом частоколе, — мятый носовой платок, шариковая ручка, ключ от квартиры, мусоленная записная книжка — самый похожий на пропуск предмет, троллейбусный проездной билет, невесть как залетевшие в карман две-три гайки с дефицитной резьбой М2,5. Пропуска не было. Егорова вынесло на вахтершу, он впервые оказался в таком глупейшем положении, даже обрадовался, хотя в его положении слово «обрадовался» звучит более чем смело, когда вахтерша закричала противным голосом, перебивая гомон освобожденной толпы:

— Пропуск, пропуск показывай!

Егоров изо всех сил надавал спиной, пытаясь вернуться за барьер, теснимые сзади закричали, злобно затолкали его сумками, плечами, мясистыми, мускулистыми женскими бедрами. Он еще надавал и вывалился за барьер с внутренней стороны проходных СКБ, вытер ладонью пот со лба, отошел в сторонку перевести дух. Все подваливавший народ удивленно смотрел на него. Вахтерша взвизгнула:

— Несун проклятый! Ишь испугался, назад пошел, — и забыла о его существовании. В углу вестибюля он еще раз перетряхнул все карманы, ощупал подкладку. Все было напрасно, нет пропуска! Он быстро пошагал по длинному коридору, нажал кнопку лифта — она отпружинила, уже выключили. Проклиная всех на свете, более всего себя за растяпистость, Егоров побежал по лестнице, вызывая очередные недомения отставших от основного потока, спускавшихся к выходу людей.

Егоров вбежал в свою комнату, слава богу, ее-то не успели закрыть. За начальническим столом шумели экспресс-шахматисты, они не заметили Егорова, вернее заметили только через четверть часа, когда, свалив шахматы в коробку, с еще большим шумом направились к выходу.

— Ты что, Жень, роешься? Потерял что? — Осведомился Филимонов.

— Вот пропуск никак не найду.

— Да ну! — Посерьезнел тот, подошел к Егоровому столу.

Через пару секунд все шахматисты ворошили папки, бумаги на столах, двигали ящиками тех же столов, но еще через пять минут стало ясно: пропуск исчез бесследно, как в воду канул. Оставалось одно: идти к начальнику СКБ, объяснить, оформить служебную на выход Егорова. Они с Филимоновым с полчаса дожидались в приемной, пока Игорь Степанович освободится, но тот, выслушав, только сокрушенно развел руками, слегка поругал Филимонова с Егоровым за развал дисциплины, объяснил, что еще с месяц назад получена новая инструкция: он более не имеет полномочий подписывать такие служебные. Дело же было, как позднее стало широко известно, в следующем: руководитель СКБ через влиятельных протезе в министерстве добился себе, кроме обычного титула «начальник», еще дополнительного звания «главный конструктор», а директор завода, взбешенный усилением самостоятельности руководителя дочернего предприятия, которого давно подозревали в сепаратистских настроениях, провел ряд мероприятий по ограничению реальной власти последнего.

— Единственно, что могу посоветовать, так это сходить к начальнику ВОХР завода, я позвоню, попрошу, чтобы вас выпустили из здания СКБ. Безобразно, товарищ Филимонов, у вас с дисциплиной, отвратительно; в этом месяце на подведении итогов мы это учтем в распределении классовых мест, премии, само собой... Идите!

Егоров с озабоченно вздыхающим Филимоновым,— вот и неприятности, опять же хоккей сегодня какой, со шведами! — через весь большой завод пошагали в охрану. Мысли даже чуть поседевшего от нервного трепки последнего часа Егорова были того грустнее.

В караулке сидел старшина Деревнянин. Он выслушал обоих, усатого и лысого, сказал, что знать ничего не знает, пусть до утра ждут старшого. Только когда Филимонов еще раз разъяснил в чем дело, напомнил о звонке Игоря Степановича, а главное — Деревнянину надоело выслушивать глупые объяснения, он снял трубку, позвонил домой начальнику охраны. Тот, на счастье Егорова, оказался на месте. Он выслушал сначала Деревнянина, потом Филимонова, после всех — Егорова, сказал, что через сорок минут будет на объекте,— дело серьезное,— заметил он.

Потерпевший и Филимонов высидели в дежурке три четверти часа, дождались начальника охраны, но тот окончательно их ошарашил. После часа расспросов, каверзных вопросов, нотаций, составления протокола выяснилось, что беспропускному Егорову все одно не выбраться сегодня с территории, когда разошлись все ответственные заводские люди, когда не от кого получить указаний, разъяснений, разрешения на выпуск. Словом, Филимонов ушел домой — вряд ли даже последний период застанет,— сиротливо думал он, а Егоров устроился на ночь в дежурке, позвонив домой, чтобы не беспокоились. Старшина Деревнянин подтвердил во избежание ревности. Жена всплакнула, рассердилась на начальство, нагрубила Деревнянину. Тот ее утешил: мало ли чё бывает, гражданка!

♦ Егоров плохо поспал на дежурной кушетке, накрывшись запасной вахтерской шинелью. Жесткие суконные волосинки кололи тело сквозь рубашку, пахло потом, револьверной смазкой. Проснулся он продрогший, с ознобом, рано, только еще рассветало. Устало зевал Деревнянин. Предложил до развода караула сыграть в шашки. Постучали, впрочем оба без интереса; Деревнянину хотелось спать после дежурной ночи, а состояние Егорова можно понять.

В семь часов пришел начальник охраны, посоветовал Егорову позавтракать в заводской столовой и отправиться в свое СКБ работать; он сегодня переговорит с кем следует.

Целый день Егоров простоял в курилке, в бесчетный раз рассказывая про нашу-мешую историю. Острословы просто на стены лезли от смеха, сочиняя всевозможные варианты вызволения Егорова из заводского пленения, были пересказаны все анекдоты, связанные с охраной, с пропусками. Бедолага сам повеселел от шуток, от веселости коллег, от мощного хохота вослед за очередной выдачей местного острослова, бойкого на язык, Валерки Овцовского. Раза три Егорова вызывали в разные начальственные инстанции, где он писал заявления, объяснения, подписывал акты, протоколы, различные бумаги с угрожающими косыми красными, синими, желтыми полосами, сочинял автобиографию, родословную свою, своей семьи, заполнял анкеты, давал подписки. Под конец его снимали в заводской фотолаборатории. Личные документы для сверки принесла жена.

Незадолго до конца работы Егорова попросили задержаться на часок после звонка — для оформления материалов на выход с территории. Когда ушли последние шахматисты, а Егоров с Филимоновым остались бобылями на всем этаже, позвонил телефон, их попросили в кабинет главного заводского Зама. Там былолюдно: все



начальство, представители многих заводских служб, так или иначе затрагиваемых этой историей.

Слишком много было говорено, но результат для Егорова оказался неутешительным: в силу каких-то нелепостей, напутанностей, возникших в период междуособицы начальника СКБ и директора завода (Сидевшие, все заводские, дружно валили на руководство СКБ, слишком о себе возомнившее, но не имеющее опыта работы с людьми), ошибочных несогласованностей, новый или хотя бы временный, даже — разовый пропуск-разрешение на выход с объекта, если прежний был потерян на его территории, выдан быть не может. Вот тебе раз!

Было предложено следующее: форсированно организовать поиски пропуска на территории силами специально созданной группы из представителей охраны и администрации СКБ, а тем временем Егорову придется пожить на объекте: в СКБ ему отведут под вечерне-утреннее и ночное жилье спокойный кабинетик одного из замов Игоря Степановича. Если же пропуск вовсе не найдется, то жить Егорову на заводе предстоит четыре года десять месяцев и 16 дней — оставшийся срок действия нововведенных инструкций.

Дико, скажите, нереально? Имею теперь косвенное подтверждение аналитически воссозданного мною, подтверждаю: косвенно, но...

Потом, работая на мебельной фабрике, довелось мне быть в Москве в командировке — дело обычное, частое — попасть в неприятное положение, неловкое: дело в том, что за один день я дел своих закончить не успел, наутро нужно было еще в пару мест заскочить, письмишки подписать, а перекантоваться ночь негде; приятель, у которого еще со времен работы в НИИ — учились в институте вместе, он потом в столицу сумел перебраться — при крайней нужде останавливался, в Крым укатил в отпуск; в гостиницу? — Ну, вы сами в Москве бывали, особенно если вы из Т., а не из ФРГ какой-нибудь. Что делать? В СКБ проблем не было, Игорь Степанович в году до десяти месяцев чистого времени проводил в столице, сутился около министерства, Госплана и других инстанций, доказывая, что его СКБ принесет неоценимую пользу стране только при условии полной самостоятельности, отделения от завода. А раз так, то на Таганской СКБ на паях с заводом сняло в долгосрочную аренду в старом особняке целый этаж под ведомственную гостиницу. Игорь Степанович и директор завода имели там по отдельной квартирке для отдыха, приема московских гостей — хотя одновременно никогда не селились! — простому командированному в столицу народу три больших комнаты досталось. Хорошо там было; во-первых, в самом центре, зимой побегаешь по министерии, по конторам разным, в метро из конца города в конец, весь в поту, а на улице сырым морозом прохватит, только и мыслей — скорей на Таганскую! Зайдешь туда — ну, прямо дом родной: люди все свои, тепло, сухо — отопление там старинное, духовое, тапочки наденешь, телевизор цветной, ванна, кухня, холодильник магазинный, до двух десятков сумок с мясом, что для дома набрали, свободно входили в него! А как поужинаешь бывало вскладчину, без чинов и должностей, как пойдут разговоры... Э-эх!

А что, думаю, не прогонят, чай сейчас? Неудобно, конечно, это я про свое скандальное увольнение из СКБ... Заводские-то о нем не знают, наверняка, вот из СКБ? Но сейчас лето, летом в СКБ пусто, как-то умудряются почти всей конторой в отпуск уйти, несмотря на грозные приказы о строгом распределении и т.п. В конце концов, стыд не дым — глаза не выест! Не кусок хлеба иду просить, не торчать же всю ночь на Казанском или Курском! Была не была, а комендантшу-то улещу. Как раз недалеко от Баррикадной я находился, как надумал, так заскочил в гастроном, что на порожах высотного дома, купил для Регины Яковлевны, зная ее вкусы (Ох, шустрая, хитрющая старушонка, рассказывала, что князь Голицын, владелец особняка, где

буфетчиком папашка ее служил, самолично крестик ей на рождение от себя послал!), коробочку вполне приличных конфет, бутылочку вишневки, а для себя, то есть для вхождения в возможную компанию командированных — совсем уж редкость, чем порой столица удивляет: лимонную водку. Покатил на Таганскую. Через десять минут уже в дверь стучался, открывается: а там смех, шумок легкий, накурено, в дверях Кавардашин — главный металлург завода, в рубахе распояс, потный, веселый:

— А-а! Заходи гость дорогой, вовремя пожаловал, тут у нас брат, такое!..

— Да вот, как Регина Яковлевна, примет ли меня, я ведь уже не в СКБ работаю те...

— За-ахходи! Какая такая Яковлевна! Мы ее еще с четырех часов домой отпустили, чтоб не мешалась. У нас, брат, такой день сегодня?!

Как оказалось, попал хоть не с корабля, но почти на бал. К великому моему облегчению из СКБ никого не было, в самой большой комнате за сдвинутыми столами и тумбочками сидело около десятка человек: все главные заводские специалисты, люди известные, знакомые мне; большинство, хотя и визуально, знали меня; в свое время потолкался по их кабинетам. Впрочем, народ заводской демократичный, а на стороне — так вовсе компанейский. Не зазнайки ранние из НИИ-КБ...

Тотчас усадили меня за стол, я, конечно, выставил лимонную и вишневку; конфеты для дочери оставил. Лимонная вызвала восторг. Меня похвалили, замещавший бывшего в отпуску главного технолога Овсянников, парень молодой, тут же подмигнул в мою сторону:

— Товарищ не только в напитках знает толк! Не смотрите, что на вид скромненький, знаете, мужики, почему он — ты только не обижайся, люди здесь свои! — из СКБ ушел? Девку молодую, чуть ли не восемнадцатилетнюю, красотку — пальчики оближешь! — так закрутил, что она этого вот скромника у проходных отлавливала и к себе. Дальше понятно: жена с жалобами, начальники — головомойку, вот мужик не выдержал, смотался...

Что ж, я был вполне доволен такой версией, поэтому скромно промолчал, чем вызвал общий, дружный, одобрительный смех. А гуляли заводские по причине большой радости: вчера директора завода с замами и главными специалистами — для возможных технических справок — срочно вызвали на коллегия министерства; сегодня утром свершилось: на базе завода создавалось объединение, главой которого становился заводской директор. Игорь же Степанович хоть получал титул руководителя отдельного КБ, но в структуре объединения, в подчинении его главы. Таким вот образом завершилась многолетняя тяжба двух руководителей. Понятно, что глава нового объединения со своими замами тотчас отбыл домой, чтобы подготовить возникшие в новой ситуации коррективы к планируемому на днях пленуму обкома, а специалисты остались на денек отпраздновать победу. Само собой, они теперь становились главными специалистами объединения. Не думал, не гадал, что когда-либо попаду на такое торжество!

Много интересного было говорено за вечер и начало ночи; информации в таких коллективах получаешь за час больше, чем за годы службы; главное на меня не обращали внимания в том смысле, что теперь был я человек посторонний для завода и СКБ, более того, считали они меня, услышав шаловливую версию Овсянникова, недругом их служебного врага — все того же СКБ, потому с особым удовольствием еще и еще раз вспоминали наиболее характерные эпизоды многолетней борьбы не на живот, а на смерть. Вот тут я сделал кое-какие выводы, косвенно подтверждающие мою давнюю, теперь — давнюю догадку относительно причин неурядицы с Егоровым. Вот, в частности, рассказывает Кавардашин, тамада стола, самый языкастый, как на заводе еще раньше говорили, наиболее приближенный в смысле доверия к Григорию Сидоровичу, человек (Вместе в войну слесарями-подростками начинали на том же заводе):

— ...А был момент, когда почти ваш (Кивок в мою сторону) и Григорий Сидорович на равных шли! Что там говорить, Игорь-то он человек новой формации, сейчас таким дорогу многие уступают! До того дошло, что мнения на коллегии тогда разделились почти поровну: половина — за отделение Игоря, половина — за Григория Сидоровича, только у нашего перевес в один голос, но и у вашего (Снова кивок) зарезервирован отсутствующий член коллегии; он вот-вот из загранкомандировки ожидался. К этому моменту отношения на заводе настолько накалились, что Григорий Сидорович с Игорем все поделили; как на разных предприятиях работают, внутренние планы, рабочие дела через главк письменно согласовывали! Вот как!?! Общее — только и осталась территория, но тут Игорь ничего не смог поделаться, его-то конторка со всех сторон заводом окружена, хочешь-не-хочешь, терпи! И терпел, стиснув зубы, не хотел на поклон из-за пустяков идти, дошло до того, что простейший вопрос, что яйца выеденного не стоит, СКБ не могло разрешить, запутавшись в своих же, хе-хе, ну, конечно, и Григория Сидоровича, сетях: несколько лет никак не могли даже инструкцию о внутриобъектовой дисциплине согласовать! Ваш-то не хотел кланяться, а стоило только позвонить Григорию Сидоровичу — все бы в ажуре было, так нет, все со дня на день ждал приезда этого... из загранкомандировки, уповал на последний решительный. Доуповался: тот приехал, но здесь первый зам у министра сменился, назначили нынешнего, Ильичева, а тот с Григорием Сидоровичем еще с досовнархозовских времен знаком, знает его хватку, что за таким никакое дело не пропадет. Ильичев-то с Григорием Сидоровичем переговорил и тому командированному члену коллегии порекомендовал отойти в сторонку, тот и начал: да, нет, вашим и нашим... Так несколько лет тянулось, пока в нашем вопросе Ильичев не прибрал коллегию к рукам. И все это время — холодная война на заводе, ваш Игорь Степанович все же крепкий мужик, сам горел, что только не перетерпел, но, как на фронте: всех до одного бойцов на танки бросит, сам изранится, но не сдастся. Настоящий руководитель! Он еще своего добьется, даром что молод. Ну, мужики, как говаривал Петр: выпьем за врагов наших, врагов храбрых!

...Да, я тогда точно воссоздал картину. Именно так Егоров оказался пленником завода. Он смирился со своей участью. Был Егоров человеком скромным, понимающим трудности молодого коллектива на путях его развития, исполнительным был человеком. Днем он работал, как все, в родном секторе, после звонка редко-редко играл в шахматы с остающимися. Затем, после ухода всех людей, проветривал комнату, запирали ее, поднимался на плоскую крышу СКБ, прогуливался, долго стоял, отдыхая, бездумно глядя на заводские крыши, на сизое, вечеряющее небо, стоял, сложив по-пушкински руки на груди, отогнув в сторону кисть правой руки с сигаретой. Курил, пуская белесые клубочки дыма. Над ним плыли облака. Когда темнело или становилось прохладно, спускался на свой этаж, отпирал кабинет личным ключом, стелил постель на диване, включал цветной телевизор хозяина кабинета — зама, смотрел, читал газеты, принесенные днем из техбиблиотеки СКБ, закусьивал на ночь из холодильника, ложился спать. С женой, с прочими домочадцами он виделся в караулке; в отведенной комнате раз в неделю жена оставалась с ним на ночь. Жена скоро привыкла, обещали ей в скором времени подписать в главке временный пропуск к мужу в СКБ.

Егорову для компенсации заточения прибавили зарплату, премию начали платить как начальникам: ежеквартально по сто процентов, выдавали талоны на бесплатные диетобеды, завтраки, молоко. Время шло.

◆ Камень упал с души. Впервые за несколько месяцев кошмара я стал замечать, какие же красивые девушки собрались на нашем этаже, даже в нашем секторе? Как

раз в универмаге выбросили большую партию муаровых югославских колготок, в моду нашего города вошли макси с разрезами в полдлины, так что все мужики соловели. Какие дружные, независтливые ребята работают со мной, как трудолюбив Филимонов, как воспитанна собственная дочь; совсем не толстуха, не неряха жена, кстати, совершенно в меру, по возрасту темпераментная. Жизнь повернулась лицом, ничто более не докучало. Слава богу!

Говорят, что эгоизм перерастает в более ценимое общественное чувство, если испытываешь избыток чего-либо: денег, счастья, здоровья. Насчет денег я сильно сомневаюсь, но вот у меня нечто случилось подобное от полноты свалившегося счастья освобождения. Я перестал копаться в самом себе, созрела великая гуманная мысль: помочь бедному Егорову освободиться от заводского пленения. Короче, я стал методически искать его пропуск, чего не смогли сделать никакие полномочные комиссии.

Конечно же, я не бросился, очертя голову, лихорадочно перерывать ящики столов, ворошить папки и прочий хлам, что сделала бы нелогичная женщина, начальник или иной разухабистый мужик. Нет, достаточно изучив Егорова по наблюдениям предыдущих месяцев, я пришел к выводу: он человек аккуратнейший, усидчивый, методический. Такой за целый день выходит лишь в курилку, не шатается по комнатам, тем более по заводу, по всяким службам. Но в курилке, на двадцатиметровом участке коридора, в лифте до второго этажа, где находится буфет, потерять пропуск невозможно, сразу бы нашли. Значит, остается лишь... наша комната. Но и здесь не в характере Егорова было швырять пропуск на стол, в ящик стола, на подоконник. Нет. Не мог он выронить его из пиджака, из внутреннего кармана. Как человек аккуратный, он не имел в пиджаке дыр, прорех и прочего. Я с полмесяца анализировал, моделировал всевозможные варианты и был вознагражден удачей. Эврика! Я понял, а понять — значит довести до логического совершенства свою мысль. Уже не первый раз в своей жизни убеждался: нет преград человеческому уму — острейшему орудию природы. Итак, Егоров мог потерять пропуск лишь следующим образом: в тот злопакопный день он пришел в очередной раз из курилки, сел на свое место перед приборами. Потом что-то потребовалось вычитать из знаменитой его, всем известной, но весьма дрянной по ветхости записной книжки. В отличии от большинства людей, в записной книжке Егорова были занесены для памяти не адреса дальних родственников, но номера телефонов приятелей, телеателье, главных инженеров предприятий-смежников, любовниц и случайных — по пивной— знакомых, а чисто справочные материалы по работе: может перечень дефицитных транзисторов, а может краткая табличка логарифмов переписана из книжки Брадиса? Кстати, книжка всегда у него лежала в том же внутреннем кармане пиджака, что и пропуск. Так как была вторая половина дня, в комнате стояла духота, Егоров несколько ослабил внимание и вынул книжку вместе с пропуском. Обложки их, обе из вонючего клейкого дермантина, пропотевшие в жаркий день во внутреннем кармане пиджака — стоит ли отдельно говорить, что человек такого аккуратного, выдержанного характера, как Егоров, да к тому же худошавый, принадлежал к тем редким людям, которые не снимают пиджаков даже в сорокоградусную жару?! — слиплись. Я специально, благо стояла страшная жара, провел следственный эксперимент, взяв свой пропуск и стертую записную книжку, почти копию Егоровой.

Затем он раскрыл книжку на нужной странице — пропуск лежал под книжкой невидимый, неосязаемый ладонью — прочитал что нужно, потом решил, что эта запись ему через пару минут вновь может потребоваться, положил книжку, а вместе с ней пропуск — под ней, на крышку прибора, уткнулся в свой осциллограф. Здесь лаборанты от главного метролога принесли с регламентной проверки другой, ранее

взятый у Егорова прибор, который обычно годами стоял на той крышке, где теперь лежала записная книжка с пропуском под ней.

Дальнейшее еще проще: лаборант, гулявший всю ночь с девицей, не выспавшийся, а от того хмурый, малоразговорчивый, зная интерьер Егорова, без лишних слов смахнул книжку на стол свободной рукой, тут же тяжелый принесенный ящик был водружен на законное место до следующей проверки: через пять лет, если не сгорит сам. Тоненькую книжку пропуска, к этому времени уже отсохшую от обложки книжки записной в вентилируемом потоке теплого сухого воздуха, что шел из решетки нижнего прибора, лаборант не заметил: она была такого же черного цвета, как крышка прибора. Другой лаборант в это время во все глаза разглядывал красотку Любочку. Егоров что-то пробурчал неодобрительное, когда записная книжка свалилась ему чуть не на нос, но глаза поднял не прежде, чем сделал паяльником аккуратную нашлепку припоя на вывод подпаиваемой микросхемы.

Когда эта мысль пришла мне в голову в окончательно оформленном виде, стоял ясный, солнечный, жаркий день, а я полудремал за своим столом, истощив работой мысли всю энергию сегодняшнего дня. Было такое впечатление, что мне приснилось или пригрезилось наяву. Такое было ясное, чистое, незамутненное видение. Единственно, что отвлекало — был виден из-за кульмана женский угол комнаты, где чертежница Любочка в искусительном мини — врез с общей модой на распоротые по швам макси — с умопомрачительными бедрами культивированной акселератки примеряла принесенные Лией Михайловной для перепродажи сапожки. В жаре, в послеобеденной сытой дреме видение это, несмотря на умственное истощение, упадок всех сил, схватывало меня когтями за живот, хотелось по-бычьему мычать от похотливой страсти, забежать, стуча копытами по лопающемуся от тонной тяжести туши паркету в тот уголок за кульманами, ломая по пути столы, сплющивая стулья, выгнать вон все пропахшее «Незнакомкой» и старческой «Красной Москвой» стадо, отогнать радостно, притворно-испуганно завизжавшую Любочку... но здесь видение разыгравшейся похоти было прервано видением логически собравшейся мысли: в этот момент я понял, где Егоров потерял пропуск. Когда я, начисто забыв о бедрах Любочки, вскочил с места озаренный, то даже в унисон проигранным мыслям показалось: хлопнув дверь, выходили лохмачи-лаборанты, принесшие прибор. Настолько было ясно, осязаемо видение, сходное с озарением свыше. Так фантазия додумывает и привносится в явь.

Я сходил в курилку, еще раз продумал всю цепочку случайностей. исключил только Любочку, она перевелась к нам в сектор из совсем другого отдела уже на моей памяти. Зато, говорят, за месяц до моего прихода из сектора, поступив в институт, уволилась еще более красивая девочка. Так что все сходилось. Да, иначе быть не могло. Когда вернулся в комнату, то из угла слышался счастливый смешок, восхищенные, завистливые шепотки. Из-за неплотно сомкнутых женских спин было видно, что Любочка стоит уже в чем мать родила ее восемнадцати лет тому назад, примеряя, очевидно, перепродаваемые... но все ее роскошные прелести, до атласных бедер включительно, не могли отвлечь меня от только что свершившегося. Я спасал человека! Есть ли чувство более гуманное, доброжелательное, радостное?

◆ Но видно человек не может жить без забот, если они исчезают; он их сам себе придумывает. Так и со мной. Теперь другая мысль завертела голову: как сообщить Егорову? Подойти, сказать? А если сердце не выдержит? — Бывает такое, вот вместо радости только дополнительное горе принесешь человеку, без того его хлебнувшего. Да и самому неудобно: Егоров всю жизнь будет считать себя обязанным. Эти обязательные бутылки в знак благодарности, спички торопливо доставать, чиркать, увидев

его, входящего в курилку, улыбки заискивающие, смеяться при каждой глупой его шутке... Не люблю я всего этого. Нет, помочь человеку, так действительно помочь, не обязывая ни к чему. Это не поза, не альтруизм, нет. Просто радость приносящий должен быть скромным. Урок человечности.

Сколько-то времени прошло, пока я голову ломал? — наверное, с час, ибо — я видел краем глаза — Любочка дважды успела раздеться-одеться, но я все более и более склонялся к одной мысли: свое участие следует скрыть. В момент, когда женщины, перепродав все, что можно, примерив все барахло, принесенное на сегодня, на Любочкиной эталонной фигурке, разбрелись по своим местам, а сама манекенщица поцокала к двери (курить в туалет), я принял единственно верное решение. Это были последние минуты в жизни, когда я еще что-то понимал в людях, верил в человеческую благодарность. Хотя бы безобъектную. О, доктор Джонсон! О, доктор Швейцер! Где ваши гуманоидные теории?

По порядку. Решение было принято мгновенно. Я выскочил вслед за мелькнувшими Любочкиными бедрами из комнаты. На великолепии их, а также на безупречности точеного бюста держалась маленькая, глупенькая головка (Сейчас так не думаю...). Но именно последнее было мне нужно. С Любочкой было принято обращение простое; охватив шаловливо за талию, сообщил комплимент по поводу цветущего вида. Любочке можно было говорить любые комплименты, даже на гагаузском языке, на котором печатались брошюры, присылаемые молдавской книго-почтой в нагрузку к томам Дюма, регулярно выписываемым женщинами сектора постарше. Любочка реагировала на интонацию льстивой речи, смеялась просто от звуков: привилегия молодости. Вынув из кармана резервную пачку «Честерфильда» — очередной знак благоволения Гольдина — я вручил онемевшей от счастья Любочке презент, проводил ее до конца коридора. Между похвалами цвету лица и прическе «гаврош» попросил помочь разыграть хмурого Егорова, только ни-ни, понимаешь? Как ни странно, в мелких делах она умела держать язык за зубами. А розыгрыш в том, чтобы подойти к Егорову и спросить: знает ли он, что его п р о п у с к (при этом я посмотрел в ее глаза, но они не расширились, не сузились... ну и народ, молодые девки, ничем не прошибешь, ничем они не интересуются кроме тряпок и возможных претендентов!) лежит под верхним прибором справа.

Она ничуть не удивилась, — она же ведь новенькая в секторе, как я, — запоздало пришло в голову... Итак, Любочка кивнула головкой в знак согласия, умчалась. Через пятнадцать минут я наблюдал последнюю в своей жизни картину, последнюю, которую смотрел еще не взором отъявленного скептика.

Вошла Любочка. На всю комнату пахло запахом французских духов, качественного импортного табака и только что съеденной на закуску дыма апельсиновой дольки, но все перебивал запах юной свежести. Дальше все было как во сне. Она подошла к Егорову, легонько дернула того за ус. Егоров тихо, миролюбиво забранился, Любочка же наклонилась и доверительно, разыгрывая заботливость, сообщила нечто. Я не мог подавить вздох; воздух, пропитанный дымом, духами, безостановочно полился в легкие, переполняя грудную клетку. Уже то насторожило, что Егоров выслушал Любочку очень спокойно, по лицу было видно — не поверил, но не рассердился, так как на Любочку сердиться нельзя: дите! Но разве такой должна быть реакция в его-то положении?! Своим спокойствием он опровергал все человеческие каноны психологии поведения. Любочка уже сверкала ажурными бедрами в своем углу, сидя на подоконнике, а Егоров медленно оторвался от осциллографа, поставил паяльник на подставку, вроде как на всякий случай (??) полез внутрь пиджака. Это человек, живущий в заточении может уже несколько лет из-за потери картонки в дерматиновой обложке?

Началось! Началось непостижимое для меня. Или я действительно сошел с ума? А Егоров, явно заинтересовавшись, встал со стула — чтобы сподручнее было, как человеку аккуратному — обшарил карманы диких своих по древности джинсов. Впрочем, в этот момент я его еще понимал, вернее ум мой выудил последнюю оправдательную гипотезу: в таком состоянии, с которой никакая сверхнаркотическая эйфория не сравнится, даже внезапное признание новоизбранной мисс-Москвы в безоглядном к тебе влечении будет выглядеть фарсом; да, в таком состоянии человек должен оттягивать момент свершения радости, счастья, чтобы успокоиться, подготовиться. У Егорова это вылилось в совершенно ненужное, показное лицедейство: поиски по карманам. Но сразу все рухнуло. Егоров аккуратнейшим образом, чтобы не перегибаться через спинку, не задеть при этом полый пиджака свои паяльные принадлежности на столе, сдвинул стул в сторонку, подсунув ладонь в щель, образованную ножками-амортизаторами, поднял с некоторым усилием край верхнего прибора справа, запустил под него другую руку и... вытащил пропуск в мерзко-серой от пыли долгого лежания, обтруханной какими-то мелкими опилками обложке. Чувства мои передать не могу, вернее, они, мои чувствования, развивались, обрывались, лопались, вновь пузырились по двум соседним, но чужим друг другу руслам: одно — торжество логики ума, другое — перевертывающие все представления о человеческой психике поведения действия Егорова.

Я не могу этого описать, не Бальзак, поэтому просто сообщаю об эффекте дикости внешней картины: Егоров покачал головой, хмыкнул, сунул, не глядя, но лишь стряхнув сор, пропуск во внутренний карман пиджака, погрозил ласково пальчиком в сторону сияющих на солнце бедер, вышел в курилку, доставая на ходу пачку... «Дымка». Мне даже послышалось — Впрочем, что сейчас в этом мире не галлюцинации для меня? — Егоров вполголоса, бранчливо ругает длинноволосых остолопов, с перепоя ничего не различающих перед собою, ставящих приборы куда попало, а сегодня-де футбол с испанцами рано начинается. Бить надо за такие шутки! Впрочем, значения его словам я уже не придавал, разум мутился.

♦ Вкратце допишу, не пытаюсь более анализировать. Происшедшее так подействовало на меня, что я лишился последнего, как говорит моя жена, практического ума. Прежде всего, я напрямик спросил Егорова: почему он так странно вел себя, найдя пропуск; неужели не в первый раз освобождается от многолетнего заточения? Тот сначала обалдело посмотрел, но, решив, что это особо изощренная шутка, новое веяние в юморе, привезенное наемдни кем-то из столицы — так я прочитал на его лице — вежливо рассмеялся. Когда я, разозленный, стал его почти что допрашивать, он тоже психанул и ушел, не докурив свою сигарету. Я его преследовал, кричал в коридоре, а потом в комнате сектора, брызжа слюной. Кончилось тем, что меня оттащили от запуганного Егорова, тут же отправили на месяц в колхоз на прополку свеклы. Когда вернулся, то с Егоровым ограничивался только кивками по утрам. Со мной говорили только по работе. Молчал и я. Потом, совершенно неожиданно даже для себя, не выдержав в один из дней плавающей жары начала августа вида полубоуженной, сидящей на излюбленном подоконнике Любочки, сорвался с места, подошел к ней и в присутствии двух других женщин и Лии Михайловны грубо попросил ее стать моей любовницей. Так как на меня после истории с Егоровым смотрели косо, то за шутку это принять было невозможно. Любочка покраснела, бессмысленно надернула юбочку на колени, пискнула «нахал», в заключении сделала вид, что расплакалась, выбежала из комнаты. Женщины дико посмотрели на меня, со значением промолчали. Когда я уже сидел на месте, то видел, как кое-кто из них и из мужиков вертит пальцами у виска. Дурье!

К концу дня мне стало стыдно, я написал заявление об увольнении. Филимонов, коротко, сочувственно взглянув на меня, незамедлительно подписал без обычного двухмесячного отстоя. На другой день без волокиты полностью оформили, рассчитали. На последней стадии оформления бегунка за мной следом ходил начальник охраны, не спуская глаз с моего пропуска, когда я его доставал. Он же лично принял его у меня при прощальном выходе из проходных, даже, прикрывшись фуражкой, как мне показалось, мелко перекрестил свою форменную грудь.

Теперь я работаю на мебельной фабрике конструктором. Здесь спокойно, все прошедшее вспоминаю, как кошмарный сон. Бывает же такое? Но до конца так ничего не понял: то ли со мной сыграли шутку соскучившиеся от безделья коллеги, то ли — особенно последние мои глупости настораживают — от волнения предыдущего периода работы, до перехода в СКБ, и разногласия с супругой нервы мои сдали? А может правда все это было... с Егоровым? Скорее всего так. Я потом тайно ходил к невропатологу, психиатру. Все в норме. Скорее вся наша жизнь не в норме, бывает же такое?

Да, Люба вышла замуж, живет теперь в одном микрорайоне со мной. После работы иногда вместе идем от остановки «девятки», мирно, дружелюбно разговаривая. Даже вспоминаем сослуживцев, она тоже перешла в другое КБ. О том — ни слова. И вот что мне кажется — чертова женская натура! После родов Любочка чуть пополнела где надо, исчезли остатки угловатости, голос стал мягче, слова умнее, но очарование юности поблекло, хотя встречные мужики оглядываются на нее еще пуше прежнего, на меня смотрят с завистью. Теперь то мое глупое предложение вызывает, наверное, в ее голове лишь сладостное воспоминание о былой грозной неотразимости. Ей льстит это воспоминание, потому она так лукаво порой поглядывает на меня. Когда я подаю ей руку трамвайного спутника при выходе или посадке, она розовеет. А что если черт не шутит еще раз... Да-да, я ведь из себя ничего мужик, а в глазах ее читаю поощрение.

— Надо от жены подальше спрятать, нервен час прочтет.

♦ *Ноосфера: Круг замкнулся.* Вот уж не думал, что, спустя два года, снова вернуться к своим запискам? Тогда, опасаясь, что супруга заинтересуется, прочтет, я отнес пухлую общую тетрадь увеличенного формата на работу, засунул ее в дальний угол нижнего ящика своего стола, для верности завалив всяким ненужным бумажным хламом. Через год, когда мне неожиданно предложили стать заместителем начальника конструкторского бюро — что ж, соображаю по инженерной работе я неплохо, а перейдя из серьезного СКБ на мебельную фабрику, вообще стал личностью заметной — перебираясь в отдельный маленький кабинетик, отгороженный от общего конструкторского зала фанерными стенками, я чуть было не вывалил содержимое нижнего ящика в мусорный мешок уборщицы, но вспомнил и, отряхнув пыль, забрал тетрадку на новое место, где, кстати, имелся сейф. Пусть лежит, есть не прочит!

Итак, как вы уже догадываетесь, жизнь моя вошла в нормальное русло, теперь не последний вроде человек, знакомые наперебой в гости на праздники зовут, жена наконец-то зауважала. Попробуй, не зауважай, когда триста чистыми домой приносит! Кстати, супруга с приходом в дом достатка заболела модной нынче болезнью вещизма, все покупает, покупает, второго ребенка заводить раздумала — года, дескать, не те уже... В личной нашей с ней жизни все хорошо, ей сейчас тридцать семь — она моложе меня немного, — самый расцвет, за собой следит, когда вдвоем с дочерью, заканчивающей школу, идут, то погодками смотрятся. Чего еще мне надо?

Да, чуть не забыл... А стоит ли записывать, то есть оформлять документально? Вроде как я начальник сейчас, так что следует быть предельно бдительным, осто-



рожным! А-а... Где наша не пропадала! Так вот, Любочка-то развелась с гулякой-мужем. Он погнался за красивой жизнью, пересел с персоналки, что возила директора мелькомбината, за баранку такси, задурил. А как только развелась, так тотчас удивительно похорошела, расцвела прямо. Полтора года тому назад это случилось. Как-то встретились мы с ней на остановке «девятки» (Кстати, «девятка» теперь — чудесный чешский трамвай, Носково снесли, построили микрорайоны, заселили тихими, спокойными людьми из других частей города): Господи! Совсем прежняя красавица, но только женственность в ней так и разлита, глаза ласковые... Вместе сели, а за сорок минут езды от центра, потом еще до дома ее проводил,— все она мне про свою жизнь поведала. Поинтересовался, не без умысла, как собирается дальше стать-быть? Замуж вновь сразу выйдет или передохнет год-другой?

— Куда там,— отвечает,— хватит с меня, попробовала этой радости, да чтобы снова в такую кабалу! Нет, сейчас молодые женщины по-другому поступают: вот я ведь, все у меня впрок, всем обеспечена (Мама — в торге, папа — высшей квалификации отладчик на заводе прядильных автоматов, из-за границы не вылезает, только на чеки в «Березке» и одеваюсь!), квартира отдельная; бывшего своего через суд выпихнула, да еще так подстроила с подругами, что на выбор дурака поставила: либо на отсидку, либо духу твоего чтобы не было: безо всяких претензий, разменов! Чего больше желать? А захочется нужду справить, так только свистни: и доценты, и боксеры, а то из филармонии прилетят; все они на молодое мясо падкие... Так сейчас многие рассуждают, нынче умную женщину к корыту или к шам вонючим так просто не приставишь. Поживу в свое, возьму от жизни что надо, а годам к тридцати-тридцати пяти разведу не очень большого начальника (Большие на это не пойдут! Им карьера дороже, да спрос с них за развод побольше...), а лучше военного посолднее, подполковника или майора, вот тогда семья получится, рожу от него для закрепления второго ребенка. А эти вертопрахи, пьянь молодая всякая?..

Конечно, можно было сейчас замуж пойти, попадись солидный, основательный, без алиментов человек, да где их в нашем городе сыщешь? Вот в Москве там другое дело: заведующего фирменным магазином, дипломата молодого, писателя серьезного... Вот у меня подружка... — с четверть часа Любочка вдохновенно несла какую-то чушь, видно почерпнутую из последнего виденного ею фильма. Трамвай вкатился на стержневую линию наших микрорайонов. Выходя, я галантно подал Любочке руку. Она стрельнула глазками по моему помолодевшему за время спокойной жизни лицу со свежееотпущенными модными усами, по новому импортному костюму, безукоризненно начищенным туфлям, дипломату с замком-шифром:

— А вы прекрасно выглядите, может уже штатом секретарш обзавелись на новом месте?

— Да, что-то в этом роде,— весело соврал я.

Прощаясь со мной у своего дома, Любочка приглашала «заглядывать на огонек», а чтобы не запямятовал (— Вы, мужчины, такие забывчивые, дичаете на своей противной работе без женского догляду,— кокетничала под хлопотливую, заботливую домашнюю хозяйку), проставила в моей записной книжке свои реквизиты.

Дальнейшее вам понятно. Раз, а то два в неделю задерживаюсь на работе дотемна: начальник все же! Жена с уважением слушает за крайне поздним ужином о бюрократических битвах в кабинете Самого, жалеет меня: за целый световой день даже аппетита не нагулял, бедненький! Будь супруга пообщительнее со старухами-соседками, что до полуночи торчат на лавочках у подъездов, заинтересовалась бы: почему в эти поздние возвращения я подхожу к дому не от трамвайной остановки, а совсем с противоположной стороны? Раз в месяц, в числа, высчитываемые Любочкой по таблице из самиздатовского перевода японского пособия «Математика оптималь-

ной любви». я отпрашиваюсь у начальника бюро на пару дней «по домашним делам», а наутро уезжаю из дома в командировку, положив в портфель полотенце, зубную щетку и тайно припасенную бутылочку рябины на коньяке.

Жизнь прекрасна и удивительна!

♦ Вы спросите: так что же заставило меня в моей новой, прекрасной, удивительной жизни вновь взяться за скорбную тетрадь, не для того же, чтобы поведать о победе над сердцем или чем там иным Любочки? Ведь настоящие мужчины все это носят в себе... Все-таки очередные горести заставили меня взяться за тетрадь, к счастью, совсем не мои, но увы! Нечто страшное в своей нелепости, связанное с людьми, много мне знакомыми, ранее фигурировавшими в моих прежних записях. А писательский зуд, если он охватил человека, теревит за душу, требует цельного, законченного описания. Некоторых такой зуд охватывает даже на восьмом десятке, успевают премию получить, но это к слову. Расскажу все по-порядку, благо в тетради остался десяток чистых листов, закончу свой труд, так печально начавшийся с меня, еще более трагично закончившийся для двух второстепенных героев.

Во вторник прошлой недели, предварительно позвонив с утра Любочке, которая, кстати, только что отметила свою двадцать вторую годовщину, получил обычное для вторника приглашение зайти «на огонек». Как всегда в такие дни, я ушел с работы пораньше, в три часа, поймал для экономии времени такси, через четверть часа был в своем микрорайоне. Отпустив машину, не доезжая до своего же квартала, я несколько странным, но хорошо отработанным путем дошел до дома Любочки, убедился, что старух во дворе нет, нырнул в подъезд, быстренько взбежал на третий этаж, своим ключом — жене говорил, что от кабинета — открыл дверь. Любочка должна была появиться вот-вот от родителей, где днем навещала и воспитывала дочурку. Пока суть да дело, я заварил кофе, посмотрел по телеку окончание дневного фильма, но тут вбежала Любочка, странно взерошенная, испуганная, с расширенными глазами. Сердце у меня екнуло, — измена! — Но прямо с порога она выпалила такую страшную новость, что я выронил чашку с кофе... По дороге от родителей Любочка встретила Лию Михайловну из СКБ, та тоже была не в себе, бледная, охала, такое рассказала... Прошло полчаса, час, но Любочка все не могла овладеть собою, даже всплакнула. К вечеру же ей полегчало, но было страшно оставаться одной, пришлось позвонить супруге, сообщить, что спешно выезжаю с главным технологом в главк, дабы поспеть на утреннее совещание по корректировке предложений на новую пятилетку.

Несколько дней прошло, весь город тревожно перешептывался, носились по трамваям самые противоречивые толкования, догадки о сути, причинах происшедшего, смутно намекали на диверсию из-за рубежа, рассказывали о некоем героическом вахтере, что обезвредил бельгийского шпиона и теперь представлен к ордену... Я сам много не понимал в этой сумятице. В воскресенье Любочка была занята воспитанием дочери, а я от расстройств душевного по поводу непонятого происшествия чисто машинально зашел в известную уже вам шашлычную с пивом. Там мне встретился Валерка Овцовский, острослов-литератор, был он слегка пьян, расстроен. Как выяснилось, Валерка, склонный к литературным упражнениям — подписывал юморески в обе местные газеты, — захваченный богатым, наглядным драматизмом трагического происшествия, скоренько, по горячим следам накатал психологическую новеллу и сунулся было с ней в редакцию. Там прочитали, назвали паникером, распространителем вражеских слухов, вышибли за порог. За парой стопок и полдюжиной пивка он поведал мне всю историю, которую сам доподлинно узнал от приятеля — следователя райотдела милиции.

Оказывается, у истории была еще предыстория, а именно: вскоре после моего ухода из СКБ, интеллигентнейший ведущий конструктор Виктор Петрович Третьяков (Помните историю с переодеванием его супруги?), совсем затюканный женой, свалившимися враз неприятностями по работе — сумел внедрить некое глобальное изобретение, получил 15 000 рублей авторских, но в свое время не предусмотрел, не включил в состав авторов никого из руководителей СКБ,— совсем испсиховался, поругался с шефом и вслед мне уволился. Тут-то с ним начались всякие странности. Ну, а второй участник нашумевшей истории, старшина ВОХР завода Деревнянин, примерно в то же время насмерть поругался со своей старухой, избил ее по-армейски в кровь, впал в запой, пропил новую казенную шинель и банку револьверной смазки — как он умудрился «толкнуть» такой неходовой в быту товар, ума не приложу? В итоге подвигов Деревнянина разжаловали из старшин в рядовые стрелки, для исправления поставили на самый нудный, трудный пост: в главные заводские проходные.

Дальше начались чудеса. На прощанье я поставил малоденежному Овцовскому бутылек семьдесят второго портвейна; Валерка назвал меня «собратом по перу», облобызал по-русски, при расставании подарил то ли второй, то ли третий машинописный экземпляр своей отвергнутой психовеллы. Мы потом читали ее вместе с Любочкой; она долго морщила свой очаровательный лобик с модной челкой, но, кажется, ничегошеньки не поняла. Я снисходительно улыбался при этом, признаюсь, сам был в недоумении. Поэтому привожу текст новеллы: может вы поймете?

♦ — Асфальт. Сплошной асфальт, вся площадь упирается в бетонный заводской забор трехметровой высоты. После субботника свежая известь капает со стволов: красота в единообразии! Тогда лучше покрасить и ветви, и пожелтевшие, зараженные бензином листья в вечнозеленую краску уставного колера? Мимо шлепают туда-сюда загорелые за лето ножки, просто ноги, ножища. Так в городской пыли не загорают. А где? — На юге, у моря, натерев упругие, но блеклые по приезду лодыжки кремом для загара. Нд-а-а. Свист и тот здесь неестественный, свисток — неестественный звук: слишком высока, выдержана по длительности нота без обер- и унтертонов.

Унтер-офицером был дед, затем пожарным в городской части; теперь там размещается отряд № 36 семнадцатой ВПЧ — военизированной пожарной части: на углу Сталелитейной (бывш. Мясницкая) и Заводской (бывш. Козий переулок; жили сплошь бабенки, содержимые богатенькими монахами пригородного Успеньева монастыря; монах ставил своим радением домик, поселял в нем молодуху). В заводе зло? Зло, но зело: зело повезло деду, просидел остаток жизни на пожарной каланче; это в самые тревожные годы после Великого Поворота. Итак, просидел на каланче в стороне от кипучей жизни. Или в будке просидел? Да-да, был дед крепким дедком с унтерской закваской. Фотография осталась, в унтерских погонах, в портупее, в фуражке с орлом. А от смерти деда до моего рождения прошло двадцать лет. Но я же вообразил себя стариком — если я почти-что молод? — нет, не лучше ли считать себя молодым, хотя сам старик?

Я стар, я — млад, я — пожарный, я — поджигатель! Я не стал поджигателем, но поджигаю ненависть, с которой смотрит на меня всякий, кто создает, охраняет плоскостность этого асфальтового поля, кому по душе проценты загрязнений бензином и дизельной отработки солянки воздуха, кто р у к о в о д и т из кабинета подрезкой чахлах городских деревьев по осени и весне.

Естественно — это просвист крыльев летящего голубя, неестественно — свист свистка: горошина катается в пластмассовой трубке, багровые от усердия щеки с эф-

рейторскими подусниками раздуты шарами. Ого! Корни деревьев стиснуты асфальтом: четвероякий корень основания. Так только он мог сказать, но он же жил в городе? Всю жизнь. У него не было фарфоровой фабрики за городом, домика среди зелени, как у историка. Но тот приложил усилие: был беден, нашел, пусть случайно, эту фарфоровую чашу изобилия. На благо всему человечеству. Через одного выплеснулось из чаши на все будущие поколения кипами исписанной бумаги. А тот, первый, жил в городе; тогда не было еще асфальта, лишь непыльная брусчатка немецкого города\*.

Четвероякое основание — уютный мирок скептического учения; он был доволен им, собою, собакой. Как же ее звали? — Амрита? — Нет-нет. То было что-то женское, но невещественное. Что вреднее для корней деревьев: брусчатка или асфальт? — Торцы. Подрезанное дерево: сверху глядя, свежая подрезка мнится торцом, неровным опилом.

Стоп! Конец улицы, окурки, остановки. Трамвай всегда визжит на поворотах, протяженно визжит, как судьба. Так твоя судьба визжит непрерывно отворяемой и захлопываемой дверью в мир. Четвероякий постулат — четыре листика лотоса. Он, лотос, не пробьет асфальт; пробивает сорняк. Дикая мысль о пробивающемся лотосе, но чем лучше мысль все упрятать под асфальт?

Итак, я стал странным. А впервые дал мне определение, до того неясно носившееся вокруг меня, вон тот, с охранными петлицами на вороте шинели без погон. Видя все: ростки, пригоршни праха сеянного, животворящего, пробивающего насквозь.

♦ Он стоял величественный и тупой. В петлицах не пожарного, но стрелка ВОХР. Свой идеал он держал при себе, никому не доверяя. Его постулат жизни: доверять только самому себе, тем более — идеал.

— Асфальт? Хорошо, пор-рядок! Одинаково, ровно, гладко — кр-р-ра-сота! Ать-два, взжик-к! Трамвай повернул: напра-а-во! Молодец, как огурец: под водку огурчик, хруст, хруст! Молодец-огурец. Огурцы не едят, огурцами за-а-кусывают! Вахта, порядок, начальник. Алю, алю? Все в порядке. Трамвай — молодец, а асфальт должен покрываться пылью: на то он асфальт, не луг заливной. Подрезанные деревья — поррядок! И с песнями, с песнями: левой, левой! Трамвай — напра-а-во! Асфальт — налево и вширь!

Вот, сукин кот, стоит, нарушая порядок. Хотя бы в центре стоял — все порядок, правильность, а то сбоку мельтешит. Это не порядок! Должно быть пьян. Пей, да дело разумеи: как я, ать-два!

— Пригоршни праха; семя есть прах земли. Прорастет ли оно, семя? Такое малое, черно-обугленное, живое, дремлющее...

— Ать-два! Как я! Протягивать руки нель-ззя! Мельтешит тоже нельзя. Посмотрел что надо и пошел себе. А так стоять, ходить взад-вперед — непорядок.

— Идеал... гармония. Господи, вымученные фразы о гармониях-идеалах. Вон тот, с вохровскими петлицами, имеет ли он идеал, знает что я делаю здесь, я — сеятель жизненного праха? Нос затыкаю ватой, но бензиновые пары все одно выворачивают душу.

— Стой! Пропуск? Все в порядке, следуй дальше. Ать-два! Беднота-а-а. Нищий, что ли? Все с протянутыми руками бродит, ладони загребалом вверх выгнуты. Не-порядок!

— Однако же из наблюдений ясно: может проломить. Я видел около дома: толь-

---

\* Надо полагать, что здесь Овцовский сел на любимого конька: сравнивает романтический идеализм Шопенгауэра с прагматизмом Фейербаха. Водился за ним этот грешок...

ко-только залили, прокатали асфальт, а уже в цветенье вишни бугорки появились. Когда вишня цветет? Да-да, в начале мая: белый цветок, нежно-белый, непорочный. Вот в это же время асфальт покрылся бугорками, затем такая же нежная, как цветок вишни, нет-нет, совсем не щетинистая, не женская, а бледно-зеленая растительная плоть пробила асфальт, потекли по нему трещины... Пали туманы на бурую, еще не оттаявшую землю, потекли реки. И потекли реки - и - и... Старый, бородастый чертушка, по тебе бы весь мир потек рекою добра, Амазонкою укрошенных страстей, Волгою нравственности, Гангом nirванного невещественного счастья. Твой прах под бугорком неукрашенной земли; не по твоей воле открыли округ торговлю фимиамными свечами. Мой семенной прах в ладони — от твоего добра. Ты землю рыхлил, я посею. Струится, течет прах сквозь ладони, падает на бронированную землю; потекли реки-и-и...

— Спиртику бы, а? Ха-ра-шо! (Последнее «о» энергично). Убрать вон того, был бы пор-ря-док! Пустая, ровная площадь без единого колеблющегося. Что ему нужно, что за сверток вынул из кармана плаща? Зачем? Звонить в караул... стой, дурак! Кому, зачем звонить, не для того здесь ставлен, смотри в пропуска: с такой отметиной — пускать, со всякой другой — не пускать, хватит, тащить. Это порядок. Забыл? Сличи с образцами в шкафчике на стене, утвержденными. А там — не твой объект. Один трамвай молодец: только и знает правильную команду: нап-ра-а-во! Не нравится, так закрой глаза, тьфу-тьфу, спятил, старый черт? Если закрыть глаза, то ты уже не вохра! Тогда не смотри на того. Что он, спятил? Сверлит... Может так надо, служба его такая? Пушай его, не мой объект ... ходют тут всякие, не-по-ря-док!

— Хорошо хоть не бетоном города заливают. Раз двадцать ручку дрели крутанул — готова луночка. Вот земля; прах ее черный, неживой, но наполненный дремлющей жизненной силой, искусственно отгороженной от солнца затвердевшей сукровицей доисторических ящеров, расплывшихся своими стадами в асфальтовых озерах. Земля, ты упруго, жирно навиваешься на сверло, я извлек тебя на свет божий, в тебе великие силы многократного повторного возрождения, ты родишь жизнь стократ, вечность целую сохраняешь от осени до весны, но даже оледенелой зимой в тебе идет замедленная жизнь. Земляной червь спит, спят корни деревьев, семена трав отдыхают от плодоносящего круговорота в ожидании весеннего солнца: Гелиос, Ра, Ярило, Зонне! Ди зонне шайнт, ди киндер лахэн! — Слабые отростки чужого языка бурлят в тебе, жалкое сцепление животворящих сил... Ди фане хох, ди райен форт гешлоссен!

♦ Большая лунка, больше лунок! Больших. В мире много сверел, почти столько же, сколько квадратных метров асфальта. Буравьте асфальт! В каждую лунку по щепотке животворящего праха. Лунка — одно из бесчисленных лон плодоносящей Земли; она же многолика, многолонна. Я — акушер Земли, помогаю разродиться ее детям в тех местах, где тот, с петлицами, желал бы видеть только идеальную плоскостность.

— На-ко, выкуси! Провокация, я-то от поста не отойду, хошь что ты там вытворишь: не мой объект. Непорядок.

— Трамвай? Как ты противно, за два квартала, визжишь, все время уходишь направо: глупый, как тот с петлицами. Все направо, направо, хотя бы раз повернул налево? Неужели тебя, машина, не утомляет однообразие? Или ты тоже находишь в этом красоту, красоту в единообразии. Безнепорядочное движение — символ утрирования понятий. А каково его понятие? — Сверлить приходится под самыми ногами петличного или петлеванного? Нет, петличного. Он, наверное, видит в моем занятии вершину беспорядка, вон, глаза скосил нарочито в сторону, лицо каменное.

— У-убью, суку! Начальник! Спаси, защити мя, уже у самых ног... Уволюсь, вот

ей крест, уволюсь: пусть попробуют найти второго такого дурака, чтобы за сто тридцать без премии терпеть всякие издевательства. Воли бы мне, эх-х, воли! Как шуганул его, наотмашь по мордасам: винтом бы пошел, ветром сдуло. Но нет на то инструкции: только впускать, выпускать. Да это кто ж такое стерпит: целый месяц сверлит, все в мое дежурство! Баба моейная пристаёт: почему, дескать, ничего не ешь? Какое, твою мать, жратво в глотку полезет, когда непонятный непорядок такой на объекте творится? А кому пожаловаться? — Не по инструкции такое говорить, терпи тут за сто тридцать без пре... А-а, что? Рука сама в кобуру: господи-суси, господи-суси, прости душу грешную (Пах! Пах! Пах!.. — Семь раз подряд, кровь). Упал, госпо-суси, что такое, набежали, вяжут, ведут?! А-а-а-а! Не я, не я! Ать-два, непорядок! Прямо в рай, прямо в рай: он, но я за ним. Славные, славные, славные-преславные! Прощайте, ребята! Прощайтесь с грешным Деревянниным, блюдите объект! Чтобы поря-я-док бы-ы-ы...

Доносились крики безумного, увозимого машиной с синей мигалкой, текла кровь пригвозжденного к дырявому асфальту семью выстрелами в упор. Была досверлена последняя лунка на площади у самого порога проходной.

◆ — Ужас-то какой, ужас! Знаете, Софья Меламедовна?

— О, господи! Как не знать, весь город только об этом говорит, бедный Виктор Петрович! После работы ехала в трамвае, так только про все это: шу-да-шу. Страх-то какой? Не приведи, господи, до чего народ осатанел; все потому, что город, да камни, да асфальт, да с малолетства власти родительской не понимают. Раньше хоть водкой опаивались, подерутся, полагаются, по домам разбредутся дрыхнуть, а ноне все трезвые, злость копят, при себе носит всяк свою... (Имеются в виду времена горбачевщины).

— Петя? Петя? Опять самогон на кухне жрет, боров треклятый! Ты слышал? Как ничего не знаешь!? Весь народ говорит, что у нас на заводе случилось: какой-то мужик весь месяц сверлил асфальт перед проходными ручной дрелью, интеллигентный такой, в шляпе. Все попривыкли, думали архитектор какой, либо по дорожной части что замеряет. А сегодня слышим: пах-пах, да страшно так! Семь выстрелов подряд, в окна повыглядывали: батюшки-светы! Ужас-то какой? Тот лежит весь в кровящи, изрешеченный, как мелкое сито, а Михалыча, вахтера нашего, связывают. Из психушки уже сообщили в дирекцию: сошел внезапно с ума, потому застрелил того в шляпе. И тот никакой не архитектор, просто злоумышленник либо блажной, все напрасну площадь сверлил. Девки, инженерши из аквариума, говорят у них раньше работал, умный очень был. Вот от большого ума сдвинулся. О, господи, ужас-то какой, а все почему — потому что самогон ты, паразит, без меры глушишь, выгнала ведь к празднику!..

Сразу после случившегося зарядили осенние дожди. Машины натащили на асфальт грязи, площадь превратилось в легкое болотце с твердым основанием. Про лунки было вспомнили, да как их отыщешь? Давно забило грязью. Немало неприятностей, всяких комиссий пережила администрация завода, прежде чем замели метели, асфальт утрамбовался льдом; в февральские оттепели площадь заливалась стылыми лужами, а наутро сверкала ного- и руколомным ледком.

Сменили начальника ВОХР; зам по кадрам спешно ушел на военную свою пенсию, в город пришла весна, а вместе с последними лужами с асфальта стекли надежды бывшего вахтера на идеальный порядок: в одну ночь, первую теплую ночь, из запорошенных высохшей грязью лунок выкинулись стебельки с бледно-зелеными листиками, корни взломали все три гектара асфальтовой площади, искрошив его в нефтепродуктовый гравий. Стебли росли не по дням, а по часам. Начальник АХО

завода и зам по быту в одночасье сошли с ума, были доставлены в нынешнюю обитель Деревнянина, даже поселены в одну с ним палату. По приказу директора четыре сотни инженеров СКБ, усиленных заводскими службами, за два дня повыдергали стебли. Был отдан приказ № 14 о заливии площади новым слоем — поверх порченно-го — асфальта, но, к несчастью, в это время всю дорожную технику города бросили на прорыв: строить новую окружную дорогу, по которой через три месяца планировался проезд в столицу профсоюзной делегации из Буркина Фассо. Дело затянулось до осени. А к осени бывшая площадь превратилась в лес. Он, конечно, мешал правильному порядку в части перспективы начальственного обзора, но заметно радовал остальных людей. Так он и остался, правда, со временем его стали подстригать: для единообразия роста — общего порядка. Понятно, что красота есть порядок, состоит в единообразии, как движение трамваев одного маршрута. У всех у них идет сначала поворот направо, потом — налево. Ни один не повернет сначала налево, а потом направо.



*Твое плодоносящее чрево, Земля... Нескончаемая сила питает поколения твоих детей. Я помог тебе облегчить бремя животворящих потуг там, где была ты захоронена под твердым покровом из гравия, песка, нефтяных отходов. Надо мной хоть сейчас ты, двухметровый животворящий слой...*

*Вещий мудрец, старец, в мыслях которого потекли реки добра. И ты, носительница всепрощения, что шла под охраной петлеванного по брусчатке, удивлялась, радовалась, что нежная зелень пробивается через камни мостовой, суля надежду, что никогда не иссякнет жизнь Земли, а зеленый цвет будет, как Осирис, воскресать в каждое пробуждение земли, когда падут туманы и потекут реки воскресения.*

